

ГЕОРГИЙ МЕЙЕР

**У ИСТОКОВ
РЕВОЛЮЦИИ**



ГЕОРГИЙ МЕЙЕР · У ИСТОКОВ РЕВОЛЮЦИИ





ГЕОРГИЙ МЕЙЕР

У ИСТОКОВ
РЕВОЛЮЦИИ

ПОСЕВ

1971

© Possev-Verlag V. Gorachek KG 1971
Frankfurt/Main

ПОРУГАННОЕ ЧУДО

*Занесло тебя, счастье, снегами,
Отнесло на столетья назад,
Затоптало тебя сапогами,
Отступающих в вечность солдат.*

Георгий Иванов.

1.

Что понимать под восприятием вселенски-православным, еще так недавно присущим, бездумно и бессознательно, многим и многим миллионам россиян, самых различных племен и даже вероисповеданий?

Не разуметь ли под ним особое отношение к жизни, внушенное нам многовековым подвигом киевских и московских монастырей?

Вокруг церковных таинств и обрядов, повторяемых, свершаемых изо дня в день, из года в год, из века в век, вокруг богослужения в целом — прообраза небесного бытия, данного нам откровением, — вокруг песнопений, иконописных ликов — окон, отверстых в вечность, — вокруг ангельски-чистых линий монашеских одеяний, священнических риз и поднебесного звона колоколов, — благовеста преображенной материи, — образовался сияющий нимб, незримое телесным оком великое излучение, обнимавшее российские пространства, овладевавшее душами живущих и умерших. Этой нездешней глубиной и красотой преосуществлялся самый воздух, который мы все вдыхали, творилась атмосфера, в которой выросли не одни русские, родившиеся в православии и непосредственно связанные с его догматами, но и все россияне вообще, к какому бы племени они не принадлежали и какую бы веру не исповедовали.

Выпадали из этой атмосферы лишь люди, действительно враждебные всякой религии, или, что того хуже, равнодушные к ней, — своим атеизмом, как лезвием разбойного ножа, рассекавшие тайные нити, даже их в раннем возрасте соединявшие с таинством российской жизни. Из этих-то людей и выходили революционеры — убийцы по убеждению, нигилисты и народники антирелигиозного толка.

Одна лишь всеобъемлющая свобода православного мировосприятия и мирочувствия могла осуществить чудо под полярным кругом, чудо Российской Империи, в которой путем духовного обмена веществ роднились и сочетались, никогда не теряя себя, не нивелируясь, не стираясь, не смешиваясь, а, напротив того, творчески дифференцируясь, идейные начала и народности, казалось, дотолле непримиримо враждебные.

Эта личная и соборная внутренняя свобода весьма отличается от индивидуального и коллективного человеческого своеволия, столько раз провозглашавшегося со времен французской революции и теперь, наконец, насильственно навязанного жизни и узаконенного сторонниками эгалитарно-демократического прогресса. Революционное своеволие, обманно названное свободой, вначале, по выражению Пушкина, отвергает население «в хмельное беснование», а потом приводит его к нейтрализации каких бы то ни было духовных идей, неизменно объявляемых равноценными перед лицом суверенного народа. Единственной утверждаемой истиной остается право на безразличное и безличное смешение всего, право ни горячего, ни холодного нейтралитета.

Провозглашая высшие реальности несуществующими, или во всяком случае недейственными, внежизненными, эгалитарно-демократический прогресс подменяет их позитивными, реалистическими благами, дарует шаткие социальные права, призрачные привилегии, лишь формально понимаемой свободы безобразному подобию общества, лишённого твердых сословных граней, стройной религиозной иерархичности. Такие права и привилегии отвергаются творческой личностью, как отвергались они в 19-м и 20-м веке во Фран-

ции всеми лучшими французскими писателями, поэтами, художниками и мыслителями, например, Жозефом Деместром, Бальзаком, Стендалем, Флобером, Рембо, Гогеном, Леоном Блуа и еще многими другими. О таких правах, свободах и привилегиях в одном неоконченном стихотворении Пушкин говорит:

Все это, видеть ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права,
Иная, лучшая потребна мне свобода.

В потаенных келиях лесных монастырей впервые зародились у нас эти иные, лучшие права. Оттуда вышли они на простор старокиевских княжеств, смягчая, преображая души и сердца недавних приверженцев первобытного язычества. Из атмосферы вселенского православия, воспринятого древнекиевским миром, возникла у нас эта иная, лучшая свобода, временно ущемленная во дни московского разложения и заново расцветшая в Российской Империи по мановению Петра, основавшего Петербург и тем воскресившего Киев. В этих правах, в этой свободе, сами того не ведая, переплавлялись души, вырабатывались новые типы лиц, изменялся внешний, природный облик страны, нарождался ландшафт — печать, налагаемая на природу, на леса, поля, горы, творческой волею человека — дух побеждал безликую стихию, из племен выковывалась раса, создавалась российская Нация.

Чудом православия и трагедией имперского созидания осуществленная на русской земле высшая свобода, в преизбытке благодатных сил, вызвала к жизни святых и подвижников, мощных строителей государства, и, как бы играючи, породила своего выразителя, всеобъемлющего гения, поэтический прообраз первородного Адама, еще не знающего грехопадения, или, по определению Достоевского, — «наше все», а по выражению Тютчева — высоко вознесенный «божественный фиал», «первую любовь России» — поэзию Пушкина.

Пушкин сам в совершенстве сознавал свое объединяющее имперское значение и отметил его, как нечто особое,

ему одному среди других поэтов принадлежащее, как свою святую и, быть может, единственную заслугу перед народом. Пушкин ведал, что, как поэт, в полной мере, в полном объеме, он навсегда останется недоступным соотечественникам, что настоящая поэтическая слава суждена ему «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит», что народу он будет лишь «любезен», и не поэтическими достоинствами, как таковыми, а свободолюбием подлинного имперца, изумительным даром идейно соединять в своем творчестве суровое дело государственного строительства с христианским милосердием. И ведая это, он тем торжественнее утверждался в своей священной миссии объединителя, творческого фермента, волнующего сердца, преображающего души.

Избранные современники Пушкина отлично понимали его имперское значение. Еще в 1828 году Баратынский, сам великий поэт, писал ему из Москвы в село Михайловское: «Иди и довершай начатое, ты, в ком поселился гений. Возведи русскую поэзию на ту степень, на какую возвел Петр Великий русское государство. Соверши один, что он совершил один, а наше дело признательность и удивление».

Для Баратынского сливались воедино государственный труд Петра и поэтическое дело Пушкина, перековка, переплавка законов и общества с преображением умов и языка.

По Гоголю, творчество Пушкина невозможно, невысказано вне Российской Империи; для него оно было ее органическим следствием: дерево — Империя, плод его — поэзия Пушкина. Говоря иначе, для Гоголя творчество Пушкина символизировало, в плане созерцательном, все силы и возможности Российской Империи, являло собою религиозно-эстетическое оправдание государственных деяний царственного труженика Петра.

Петр Великий родился не служителем искусства, не поэтом, но государственным преобразователем и строителем, и поэтому борьбу с самим собою он проектировал во-вне, пересоздавал себя прямым воздействием на других. Российская Империя зарождалась в усмирении буйных восстаний стрельцов, она выросла наперекор мстительным интригам бояр,

сопротивлению московского духовенства, дремучей лени мужиков. На московское непокорство и кровь царь отвечал первобытной силой. В этой схватке Московия была не чем иным, как объектированной душой Петра. Трудясь над пересозданием Великороссии, он сам пересоздавался, одухотворялся, он действительно реализовал идеи и формы, впоследствии художественно, в плане созерцательном, осуществленные Пушкиным.

Поэзия Пушкина с ее даром проникновения во все человеческое и природное, с ее способностью к перевоплощениям, была прямым следствием имперской удачи Петра.

Не так ли «волею строителя чудотворного», преобразованная Великороссия приобщилась к иным народностям, духовно и телесно вселилась к ним и в них, по видимости утрачивая себя в борьбе, в духовно-биологическом обмене веществ, но в действительности утверждаясь, возвеличиваясь соборно, утверждая и возвеличивая других?

2.

Писатель редкого дарования, пронзительного ума и громадной культуры, князь Петр Андреевич Вяземский, на многие годы переживший Пушкина (он родился в 1792-м и умер в 1878-м году), уже на старости лет, вспоминая поэта, своего младшего друга, двумя словами с удивительной точностью определил характер его политических и государственных взглядов, назвав их *либерально-консервативными*. Такое необычное соединение двух, казалось бы, исключających друг друга понятий исчерпывающе определяет государственно-политические воззрения не одного только Пушкина, но всех российских имперцев времен Екатерины Великой, Александра Благословенного и Императора Николая I-го. Ведь и названная Императрица и оба Императора были по своему воспитанию и душевному складу не менее либерально-консервативны, чем Пушкин, или сам автор столь удачного определения. Но, находясь во главе Империи, они не созерцали, а

действовали и потому на протяжении царствований Екатерины и Александра неоднократно менялось на практике ударение в словосочетании князя Вяземского, падая то на первое, то на второе понятие, в зависимости от государственных соображений, от внешних и внутренних обстоятельств.

Царствование Императора Николая I-го, благодаря декабрьскому бунту, питавшемуся наскоро-пересаженными на русскую почву идеями французской революции, было в целом строго консервативным; все либеральное мерилось тогда властями бережно и скудно, допускалось во все области государственной и общественной жизни с зоркой осторожностью. Имперское правительство переходило на защитные позиции под давлением разрушительного революционного радикализма, подменившего собою в слабой голове разночинца, и особенно журналиста-интеллигента, подлинно прогрессивные идеи, проведенные в жизнь Петром Великим и его преемниками на российском престоле. По мысли одного из самых замечательных наших имперцев, гениального Константина Леонтьева, царственная властность Петра была чрезвычайно прогрессивной, а либерализм Екатерины Великой привел Россию к цветению, творчеству и мощному росту, но с декабрьского бунта и его зловредных последствий останавливается у нас процесс сложного цветения, намечается смесительное упрощение, революционное разложение, и поэтому меры охранения — консерватизм Николая I-го, — были благодатными: они удержали, хотя на время, смертоносное упростибельное смешение того, что в прежние годы творчески дифференцировалось историческим прогрессом.

Константин Леонтьев лучше, чем кто бы то ни было, понимал Императора Николая I-го, глубже всех ценил его государственную мудрость и политическую дальновидность. Правда, в этом его, в некоторой степени, опередил Пушкин, крылатые слова которого, пришедшиеся не по вкусу революционным интеллигентам второй половины 19-го века и потому ими затертые, мало кому известны. «В России правительство было всегда впереди народа», сказал Пушкин, слишком очевидно имея в виду не только правительства любимых

им Петра и Екатерины 2-ой, мнение о которой он в зрелом возрасте круто переменял к лучшему, но и правительство Николая I-го. Все же Константин Леонтьев первым сумел определить, в чем именно состояла государственная мудрость этого Императора. Он понял, что борясь одновременно с западниками и славянофилами, Николай I-ый охранял Россию от бездарной, по своим возможностям безмерно кровавой, русской революции и от не менее бездарной, хотя и сдобренной розовой водичкой туземного «православия», беспросветной типично московской реакции. И как часто, должно быть с чисто имперской точки зрения, задавал себе Император вопрос: не смахивает ли наша революция, со всеми своими новейшими западно-европейскими заветами, девизами и лозунгами, на чернейшую реакцию, и не похоже ли болото славянофильской реакции на самодовольную, уже достигшую своих конечных целей, революцию?

Император Николай I-ый был деятельный практик и реалист, что не мешало ему, а, наоборот, помогло ему служить высокой имперской идее, всячески далекой в его представлении от того, что принято называть империализмом, — насильственным рудиментарным нажимом на иные более слабые национальности, проводимым, например, западно-европейскими державами в их колониальной политике. Николай I-ый постигал имперскую идею в ее полноте, в ее ничем не ущербленной сущности. В этом отношении характерен рассказ де Кюстина, как известно, не любившего ни России, ни ее государственного строя, что в данном случае лишь увеличивает ценность его свидетельства.

Однажды, в бытность свою в Петербурге, де Кюстин присутствовал на придворном рауте. К нему подошел Император Николай I-ый и с улыбкой спросил его, показывая на присутствующих: «Вы, вероятнее всего, думаете, что находитесь среди русских, но вы ошибаетесь: вот немец, там поляк, тут армянин, вон грузин, там подальше — татарин, — здесь финляндец, а все это вместе и есть Россия».

Еще характернее, еще типичнее для имперской государ-

ственности Николая I-го его столкновение с Самариним, пытавшимся, будучи чиновником в Остзейском крае, проводить в жизнь славянофильские теории. Самарину вздумалось навязать тамошнему населению коротенькую идейку московского бытового исповедничества. Он думал таким образом руссифицировать край. Слухи о деятельности славянофильского чиновника дошли до Государя. Разгневанный царь вызвал Самарина в Петербург и подверг его жесточайшему разному. Он напомнил ему, что в великой Империи, охраняющей духовную жизнь великой нации, не может быть места самоуправству и что традиции и верования жителей Остзейского края перед лицом закона и права нисколько не хуже московских.

Это-ли не истинная либерально-консервативная политика! Охранять целый край, драгоценную частицу Империи, от наглых покушений непрошенного реформатора и тем позволить населению свободно соблюдать родные обычаи и верования. Так поступали наши Императоры, от Петра Великого до Николая I-го включительно. Они всегда пресекали незаконное с имперской точки зрения, распространение местных укладов жизни, навязывание собственного туземного житья-бытья, будь то младшему или старшему брату по Империи. Самодовольное разбухание племенных претензий рассматривалось российской государственностью, как психическое заболевание, как раковая опухоль, подлежащая суровому лечению. К непоправимому несчастью для России, Николай I-ый был последним Государем, до глубины чувствовавшим и сознававшим великолепия многообразно цветущей жизни, возможной только в Империи. Он, подобно своим предшественникам на российском престоле, знал, что эта жизнь, эта духовная сложность осуществимы только равновесным и дружным сопряжением разноплеменных сил.

Либерально-консервативное направление неизменно содействовало расцвету российской государственности, служило проверкой ее равновесного развития, было ее разумом, созданием.

— Мечтать в наши дни о восстановлении в России свободы либерально-консервативного строя, это значит желать оживления ее имперского духа, — точнее, это значит стремиться к воскрешению самой России, ибо она и есть высшее и единственное достижение нашего имперского творчества. Она получила свое наименование от Петра Великого для отличия от Руси и построена совсем не русскими, а россиянами. Русь и русские были при этом тем зерном, о котором сказано мудрыми и святыми устами: «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет».

Совершив свой жизненный подвиг, умерев, подобно посеянному зерну, русские ожили в духовном теле Империи, восстали к новой жизни, превратившись в россиян, наравне с другими преобразенными народностями, вошедшими в его состав. Русь была телом душевным. Ее взаимоотношение с Россией можно определить вечными словами Апостола Павла: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное».

Но если, действительно, из душевного тела Московской Руси, выросло духовное тело России, то нельзя ли сравнить этот мучительный, трагический рост и конечную метаморфозу с трудным и несомненно болезненным процессом, происходящем в куколке, и появлением из нее в итоге гармонически-разноцветной, радужной бабочки. Причем Московскую Русь понуждали к развитию, как понуждают к нему и куколку, законы и силы, действующие извне, сверху, из атмосферы. А чувствование и той, и другой, их внутренний болезненный рост, одинаково хорошо характеризует двустишие поэта:

Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припухших десен.

Развивая наше сравнение дальше, можно сказать, что Киевская Русь по отношению к Московской Руси и к России была тем ликующим жизненным началом, каким по отношению к темной куколке и многоцветно изукрашенной бабочке

является гусеница, отливающая на солнце всеми цветами радуги. Воля Петра, царственного хирурга, рассекши непокорный, упорный московский кокон, вызвала к жизни Петербург — окрыленный Киев. И тяжкая трагедия в развитии древней Руси не что иное, как некая высокая норма, встреча и грозное сочетание, извне и изнутри идущих желаний, — искание совершенного духовно-телесного оформления.

Восприняв православие, Киевская Русь просияла в его лучах, но государственный облик этой страны был слишком зыбким, мягким, неустойчивым, чтобы в жестоких земных условиях сохранить полученное величайшее откровение, ни с чем не сравнимый духовный дар. Незрелое, идеалистическое понимание христианства киевскими князьями и разгул по уделам, не усмирённых из центра, первобытных языческих вождельней, открыли пути нашествию татар, вызвали вмешательство извне. Под давлением внешних сил, оберегая высшее религиозное откровение, киевская государственность отступила в Москву. Там, в положении сравнительно более обеспеченном от прямого и немедленного вмешательства чужеродной воли, наша религиозно-национальная идея могла воспользоваться опытом, приобретенным в несчастьях, и, сосредоточившись, уйти в себя, свернуться, централизоваться, оуклится — выковать государственную броню для защиты своего непрекращающегося внутреннего роста. Этот процесс созревания и дозревания был невыразимо тяжелым. Именно к московскому периоду нашей истории относятся замечательные строки Случевского, в которых, между прочим, Русь преждевременно названа Россией, — ошибка, весьма типичная для русского, хотя бы и гениального, человека второй половины 19-го века:

В те дни из тысячи волокон,
В жару томительном, в бреду,
Россия, с жизнью не в ладу,
Свивала свой громадный кокон.
Все были закрепощены
В болезнь слагавшейся страны.

.
Что за беда, что на пути
Мы, тут да там, виновны были.
Тех стерли, этих своротили,
Тут не дошли, там перешли...
Спросите каменный утес,
Зачем он здесь и там пророс,
Когда он трещины давал,
Он глубоко, до недр страдал.

Но свивать свой кокон может лишь тот, кто жизнеспособен. Правда, одна голая жизнеспособность еще не признак в человеке душевных сил, но непоколебимая преданность Московии идее православия и самодержавия, — пусть неверно понимаемых к концу, — показывает, чего ради вырабатывалась железная московская государственность. Поэтому жар и бред и нелады Московии с собою и миром, смуты, кровавую борьбу великокняжеской и царской власти с туземщиной, с бунтующим народом надо рассматривать, как трагическую норму духовного прорастания, как недомогание, сопутствующее воплощению высших идей, болезнь не разлагавшейся, а напротив, как говорит Случевский, слагавшейся страны. Конечно, заболевание и страдание самих по себе любить нельзя, но поскольку они содействуют воплощению на земле божественных идей, их можно и должно принимать и оправдывать.

Болезненное развитие Киевско-Московской Руси в Россию есть непрерывный, в существе своем нерасчленимый, живой душевно-духовно-телесный процесс.

Лишь в годы, непосредственно предшествовавшие воцарению Петра, обозначилась в Московии тяга к разложению и самоистреблению. Виновато в таком пагубном уклоне было, как и всегда, привилегированное, правящее сословие. Оно перестало руководить народом, остановилось, застыло, и низший слой населения приступил к рассасыванию, расхищению накопленных культурных богатств. Созданная жизненною необходимостью, жестокая московская государствен-

ность стала из твердой обращаться в затвердевшую, и, наконец, омертвела в реакционной рутине. Московский государственный кокон из хранителя высшей религиозной идеи превращался в ее гроб. Явление и вмешательство Петра оказались провиденциальными. Он снова привел в движение остановившийся, отказавшийся от прогресса, от духовного роста верхний привилегированный слой. В борьбе с бытовым исповедничеством и расколом он восстановил и утвердил в нарождавшейся России истинное вселенское православие и спас идею самодержавия от племенных посягательств, от престоноародной и дворянской черни.

4.

Строитель чудотворный, Петр был проводником божественных предназначений, оправданием идеи самодержавия по-еврейски понимаемой, власти миропомазанной и потому служебной. Он, как гроза, принес с собой очищение. Недаром он для Пушкина носитель сверхъестественной силы, очистительное вторжение в скудное человеческое существование. Перед Полтавской битвой Петр «свыше вдохновенный» выходит из шатра, как вестник, как проводник небесной воли:

. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.

Тут неуместны обычные ссылки на «поэтическую образность» и «красочную фигуральность»: сравнения, метафоры и образы Пушкина, как и всякого подлинного поэта, выражают именно то, что он хотел выразить. Творческое слово существенно, ибо оно прикасается к сущному. Оно онтологично. Вот почему, говоря о причастных к божественной жизни горных вершинах, по которым «проходит незаметно небесных ангелов нога», говоря об альпийской «венценосной

семье», Тютчев, «свыше вдохновенный», называет тем же словом, что и Пушкин, чувство, возникающее в нас при касаниях к мирам иным. Чувство это — ужас. Сияние горной венценосной семьи и лик Царя Петра с сияющими глазами, одинаково разят человека ужасом. И Пушкин, в свою очередь, мог бы, вслед за Тютчевым, назвать это невыносимое для нас ощущение — «льдистым». Вестники вышних велений не согревают бедного человеческого сердца. Властно вторгаясь в наше свитое в долине гнездо, они побуждают нас к духовным свершениям и подвигам, они говорят нам: будьте, как боги!

Идея самодержавной монархии раскрывала перед Пушкиным и Тютчевым свою мистическую сущность, и они в священном ужасе внимали ей.

Но если все сказанное Пушкиным о строителе чудотворном говорилось не для «красочной фигуральности», а для того, чтобы выразить некую духовную правду и если при этом слово не изменило поэту и действительно отразило раскрывшуюся высшую реальность, то судить Петра надобно совершенно особым судом. Тогда все, им сделанное, добро обнаружится перед нами в своей ясной простоте, а его зло покажется всем двуликим и непостижимым. Так самым тяжким грехом Петра признано сыноубийство. Но стоит взглянуть на создателя Российской Империи по-пушкински и признать в нем носителя божественной воли, как попытка объяснить его грех, тотчас встает перед сложнейшей и вряд ли религиозно-разрешимой задачей. Кто знает, казня собственного сына за бунт и доказанную государственную измену, не действовал ли он в предвидении того рокового дня, когда отрекутся сыны России от тысячелетнего дела своих отцов, умертвят Помазанника — священный прообраз отцовства — и покончат с самим отечеством.

Петр не мог не чувствовать, более того, не мог не сознавать, что величайшее зло, когда-либо искушавшее людей, есть грех отцеубийства, с подменной самозванными личинами духовных истин, дарованных Богом. Он знал, что человек носит в себе темную сущность поправшего отцовства библейского

«героя». Он понимал это бесспорно, несомненно. Ведь все, что виделось Петру в действии, открывалось Пушкину в созерцании и затем, со всею мощью творческой диалектики, до конца разоблачалось Достоевским.

Связь Достоевского с Пушкиным неизмеримо более сложна, крепка и многогранна, чем это обыкновенно думают, ссылаясь на раз и навсегда установившиеся трафаретные суждения. Можно даже утверждать, что из всех наших писателей и поэтов наследником религиозно-художественных идей Пушкина был только один Достоевский.

Между прочими темами Пушкина, перешла по наследству к Достоевскому и тема отцеубийства: из «Скупого рыцаря» выросли «Братья Карамазовы».

5.

Творческому человеку часто бывает достаточно отдаленного намека на какое-нибудь явление или переживание, чтобы раскрыть их сущность, восстановить и воплотить их в своем искусстве. Это может быть истолковано только тем, что художник содержит в себе самом все человеческое и природное, светлое и темное, весь мир, всю вселенную. Одно движение, дуновение — и вот найден закон природы, обнаружены темные тайны порока:

Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек.
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.

Не упоминая уже о способности, свойственной в полной мере и Пушкину и Достоевскому, находить в себе отзвук на все мировые веяния, оба они потому глубоко постигали грех отцеубийства, что были русскими, и хотя всего лишь в намеке, в зародыше, но лично, на практике, прошли через это зло. Пушкин испытал соблазн отцеубийства в столкновении со своим родителем, и совсем не случайно, по приезде из Одес-

сы в село Михайловское. Это было неизбежным завершением бунтарского, внутренне-революционного периода, так болезненно пережитого поэтом на юге России.

Пушкин дважды письменно засвидетельствовал свою ссору с отцом: в дружеском письме, составленном под непосредственным впечатлением безобразной сцены и, шесть лет спустя, в «Скупом рыцаре», в котором этот случай, изложенный в первый раз пристрастно и с явной целью себя выгородить, творчески разрастается, в скрытом, замаскированном виде, в страшную категорию русской жизни и души самого поэта, ко всему русскому органически причастной.

Ссора происходила наедине, с глазу на глаз. В ее разгаре отец, по словам Пушкина, выбежал в соседнюю комнату и, обращаясь к находившимся там членам семьи, крикнул, без всяких к тому поводов и оснований: «он хотел меня убить!» В письме Пушкин возмущается таким заявлением, в своем сознании совершенно искренно считая его клеветой. Но ведь и сын скупого рыцаря, Альберт, искренно возмущен старым евреем, слишком ясно намекнувшим ему на возможность отравить отца. Он грозит повесить Соломона, хотя только что до того сам ответил сочувственным «amen» на слова этого ростовщика, пожелавшего ему скорейшего получения наследства или, говоря иначе, скорейшей смерти отца.

Скупой рыцарь интуитивно знает, что Альберт желает его смерти. О своем внутреннем знании он сообщает герцогу, повторяя при этом в точности выражение пушкинского отца: «он хотел меня убить». Не имея никаких прямых улик, могущих подтвердить такое обвинение, скупой рыцарь спешит добавить: «Доказывать не стану я, хоть знаю, что точно смерти жаждет он моей». Однако события тотчас же показывают, что обвинение не нуждалось в такой оговорке, ибо когда в ответ на слова сына — «вы лжете!» — отец бросает ему перчатку, сын принимает вызов, и когда, возмущенный таким поступком, герцог вырывает у него перчатку, Альберт обнажает свои тайные вожеления кратким восклицанием: «Жаль!». Впрочем сожаление в свою очередь оказывается излишним: престарелый скупец умирает от волнения на гла-

зах сына, принявшего вызов и тем убившего своего отца. Пушкин-поэт не утаил и не мог утаить того, что Пушкин-человек тщательно скрывал ото всех, даже от собственного сознания.

Отец Достоевского был человек недобрый, крутого и непереносимого нрава. Деспотичный и скупой, он держал уже взрослых сыновей-студентов, как говорится, в черном теле. Вся семья жила в страхе и не знала, как избавиться от мужней и отцовской опеки. Наконец, он был убит своими же крепостными за жестокое и издевательское обращение.

Трудно вообразить себе, что должен был пережить в детстве Достоевский, будучи ребенком крайне впечатлительным и болезненным. Во всяком случае он не только не любил своего отца, но временами прямо ненавидел его и всю жизнь не мог преодолеть в себе враждебного к нему чувства. Начало нервной болезни Достоевского, развившейся впоследствии в настоящую эпилепсию, следует отнести к его ранней молодости. Ор. Миллер, биограф Достоевского, по этому поводу пишет: «Есть еще одно совершенно особое свидетельство о болезни Федора Михайловича, относящее ее к самой ранней его юности и связывающее ее с критическим случаем в их семейной жизни».

Достоевский, нежно любивший мать, всегда избегал говорить об отце с кем бы то ни было. Доктор Яновский, близко знавший Достоевского, пишет в своих воспоминаниях: «Он сообщил мне многое о тяжелой и безотрадной обстановке его детства, хотя благоговейно отзывался всегда о матери, сестрах и брате Михаиле Михайловиче; об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать».

По-видимому, у Достоевского было еще больше оснований не любить отца, чем у Пушкина или у сына скупого рыцаря. Свое враждебное чувство к отцу он старался всячески скрывать и от других, и от себя, но оно прорывалось наружу в творчестве, обнажая несправедливые изгибы человеческой души, обнаруживая метафизическую, или, что пожалуй точнее, злую метаэмпирическую сущность отцеубийства.

В плане религиозно-художественных идей Достоевский и

Пушкин встречались не раз, — о встречах этих можно было бы написать множество увесистых книг, — но никогда не соприкасались они так близко, не сrostались так крепко, как при творческом погружении, нисхождении в грех отцеубийства. «Скупой рыцарь» — черное зерно, «Братья Карамазовы» — выросшее из него ядовитое дерево, некий русский Анчар, вот неизбежная категория нашей жизни! А тому, что здесь мы имеем дело с категорией вполне реальной, свидетель сам Достоевский.

Для психиатров, человек, подобный Ивану Карамазову, — ненормален, психически болен, и потому, по их убеждению, нет серьезных причин считаться с его мнениями, принимать его бред за что-то в действительности существующее. Напротив того, для пневролога Достоевского болезнь Ивана Карамазова, развиваясь из его непомерной гордыни и самоутвержденности, не только раскрывает перед ним потусторонние злые реальности, но и позволяет ему видеть, как переходит зло из мира потустороннего в мир явлений, и тщетно пытаясь воплотиться, паразитарно приростает к человеческому сердцу, силясь погасить в нем последнюю божественную искру. Для Достоевского болезнь Ивана Карамазова не безответственная паталогия, а злодуховная норма, смертным грехом уязвленной души.

Судьи Мити Карамазова, люди биологически уравновешенные, не могут принять во внимание свидетельство Ивана, тем более, что в подтверждение своих показаний он прямо ссылается на привидевшегося ему черта, существо, для образованных спокойных буржуа совершенно мифическое, изобретенное неотесанными мужиками-суеверами. Однако, никакие скептические замечания чрезмерно умных интеллигентов не в силах затмить величие этой сцены. В судебное заседание, руководимое слепыми ко всему духовному людьми, при стечении таких же слепых слушателей, врывается показание человека, собственным злым опытом коснувшегося миров иных. Пророческие слова Ивана, обращенные к соотечественникам, безответно повисают в воздухе, ибо слепцы оказываются вдобавок и глухими, они не понимают, и в

духовной своей глухоте не могут понять, страшного обобщающего значения вопроса, заданного им так открыто и так прямо:

— Кто не желает смерти отца?

— Вы в уме или нет, — вырвалось невольно у председателя.

— То-то и есть, что в уме, и в подлом уме, в таком же, как и вы, как и все эти р-ррожи, — обернулся он вдруг к публике. — Убили отца, а притворяются, что испугались, — проскрежетал он с яростным презрением. — Друг перед другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца... Не будь отцеубийства — все бы они рассердились и разошлись злые.

Эта сцена невольно и как бы сама собою напрашивается на сопоставление с финалом гоголевского «Ревизора», когда внезапно поднимается завеса перед глазами прозревшего под ударами судьбы городничего и он, как в зеркале, не узнавая, видит себя самого среди своих сослуживцев и соотечественников. Свою неожиданную зрячесть он принимает вначале за слепоту. Но нет, он видит, и что же он видит?

Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу: вижу какие-то свиные рыла, вместо лиц, а больше ничего!

Если мы вдумаемся до конца в такое сопоставление, то услышим, как наяву, одинокий возглас Гоголя, прорезающий слепую и глухую черноту всероссийской ночи: «Соотечественники, страшно!» И больше ничего!

6.

Русская революция впервые поставила полностью проблему отцеубийства и если не разрешила ее, что вообще вряд ли возможно, то во всяком случае довела на практике до своего завершения самую идею этого зла. И что же теперь по чести можем мы поведать друг другу? Или нам остается только, смотря в непроглядное будущее, признаваться словами городничего в нашем полном бессилии: «вижу какие-то свиные рыла, вместо лиц, а больше ничего!»

Нет, напрягая внутреннее зрение, мы увидим, наконец, что не обманно, не призрачно дрожит и теплится, тускло мерцая во мраке, душевный огонек, завещанный нам Достоевским. Мы должны подавить в себе гоголевский страх и, следуя за Достоевским, завершить им неоконченное дело, для ума невозможное и лишь верующим сердцем постижимое: мы должны преодолеть гоголевских чудищ, мы должны вернуться к Пушкину. То, что тщетно пытался Достоевский сделать в одиночку, мы можем осуществить сообща, соборно. Чудища и мертвецы, прежде невидимо гнездившиеся в наших душах и лишь Гоголем изобличенные, теперь, после перенесенных нами страданий, отделились от нас, объективировались, обрели для себя некое подобие самостоятельного существования. Эти оборотни наяву овладели нашей родиной и тем наглядно показали, насколько прав был Достоевский, утверждая, что земная действительность фантастичнее всякой фантастики.

Святая задача эмиграции, зарубежной и внутренней (есть и такая) разобраться в минувшем, отделить в нем пшеницу от плевел, отыскать неведомые посевы, предназначенные для будущего, хоть и не возвращенные, но все еще живые. Пора нам понять после подпольных и чердачных персонажей Достоевского, что подвалы и скворешники, клетушки, кабинки, каюты и каморки, столь похожие на гроба, на мучительные прообразы смерти, неизменно скрывают в себе до времени грозные и великие возможности сияния и тьмы, греха и подвига. После Раскольникова и Криллова, после их страшных опытов, созревавших на нищенских вышках и в скудных комнатухах, после подпольных замыслов Петра Верховенского, словом, после всех этих темных мечтаний и дерзаний, сразу в двух встречных направлениях, извне и изнутри взорвавших мир, расщепивших атом, нам ли бояться духовной заброшенности и внешнего убожества жизни?! Нельзя забывать, что судьба оказала нам двойную, — трагическую и комическую услугу, расселив нас по углам и чуланам, в которых еще так недавно она выдерживала до срока социалистических уродов, патлатых и лохматых завистников, накопивших неистовую

злобу и сокрушивших таки, наконец, величайшую в свете империи. Запомним урок: на задворках жизни, в ее забытых закоулках обретается опыт, вырастают силы, меняющие судьбы мира. И если все эти Троцкие, Ленины, Бела-Куны и Сталины, эти полусущества, порожденные болотными испарениями, эти выходцы из гробов, столь похожие на упырей, на изъятых из клинических банок заспиртованных недоносков, могли своей накопленной злобой изувечить весь мир, то ведь и мы, нынешние обитатели этих самых коморок, кое-что накопили за долгие году тоски по утраченному отечеству. Многие из нас, посланных на бесплатное обучение в Европу и Америку, научились ценить потерянный рай, научились разбираться в остатках былого, сквозь дым и гарь большевицких кровавых деяний, сквозь ядовитый туман демократической слизи и хляби. Искупительным страданием, таинством печали, мы освятили и обессмертили великое российское прошлое.

Мировая история заранее, за долгие годы предрешила, сделала неизбежным появление и торжественное шествие по земле всевозможных и бессчетных чудищ от революции. Они спускались с пыльных чердаков, вылезали из затхлых подполий, покидали свои мертвые пристанища, свои тайные домины и, заражая смрадной пропагандой города и веси, отравляя, околдовывая души, ввергли их в беснование, чтобы вслед за тем вылущить из них все живое и навсегда погрузить в мертвенное оцепенение. Но не забудем, что чудища и оборотни действовали *коллективно*, как и полагается слушителям социализма, этим механически-сцепленным между собою автоматам. Мы же, российские изгнанники, объединенные живым страданием, мы, изгнанные правды ради, будем подвизаться *соборно* и не во имя презренной, слишком человеческой, справедливости, не во имя лицемерного гуманизма, а во имя любви и веры и Христовой победы. Воскресный день настанет. Он близок. Вплотную подходит время решений и ответов. По новому напрягается слух и зрение и в порывах осеннего ветра, в его острой, холодной струе чуется бедному

изгнаннику страшная, но желанная близость небывалого, невозможного, поистине пасхального торжества.

Пусть же растет и зреет в нас благословенная воля к воскресению минувшего. В грозную годину мировых потрясений все мы должны из последней душевной глубины воззвать к российскому прошлому, изострить нашу память, вспомнить былую жизнь на родине до самой малой, некогда виденной нами соломинки, до последней черты. И совершится небывалое — прильнет бесноватая страна к ногам Спасителя, расступится океан неповинной крови и выйдет из него обновленный в страданиях, навсегда нерушимый Китеж.

Скуем же в себе духовную скрепу, памятуя вещие слова поэта:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

7.

Грядущее возникает из незабвенного минувшего. Если нет памяти о прошлом, не осуществится и будущее, и все превратится в хаос, рухнет в извечную, довременную, безликую и безразличную стихию. Человеческая память движется и творит. И самое драгоценное в ней это неизсякаемая воля к идеализации прошлого. В отличие от ожидаемых в будущем и воображаемых в настоящем идиллий, неизменно плоских и мертвых, идеализация минувшего служит залогом нашего собственного бессмертия. Идеализируя прошлое, память совершает отбор, очищает все бывшее, доподлинно героическое, от временного и обветашалого. Так, воскрешая предков, мы, «не помня зла, воздаем им за благо» и оправдываем тем самым неистребимо живущую в нас надежду на собственное бессмертие. Идеализируя прошлое, мы любовно сливаемся с ним и как бы присваиваем его себе.

Духовные усилия поколений, переживших революцию, должны быть направлены к восстановлению оборванных традиций, к кропотливому благоговейному изучению великого

прошлого. Страшное, во веки веков непоправимое злодеяние, называемое революцией, в зародыше своем было ведомо Библии. Кровавое осуществление в мире темных революционных страстей предreshилось в тот самый день, когда Хам надругался над Ноем и тем в сердце своем совершил отцеубийство. Грех революции — грех безликого коллективного хамства. Вот почему, пусть только частично, он может быть искуплен нашим общим, соборным стремлением воскресить минувшее, творчески ему подражая. Идеализируя предков, мы воссоздаем их первородный лик, данный им Богом при сотворении, и таким образом, как истые художники, подражаем уже не падшей природе, а самому Творцу. Человеческая память динамична: воссоздавая бывалое, она побуждает нас стремиться к небывалому; иными словами, она каждый миг призывает нас созидать настоящее и стремиться к будущему, опираясь на прошлое.

Давно уже сказано устами великого поэта: «Жизнь для волнения дана; жизнь и волнение — одно». Революция противоречит всему живому, она провал, остановка, забвение и небытие. Волнение, по видимости сопутствующее революции, обманчиво; оно присуще не ей и не преданным ей палачам, а загнанным жертвам, еще сохраняющим в себе перед смертью погасающую искру жизни. Настоящий революционер лишь симулирует волнение, актерствует, театральничает, на самом же деле он невозмутим, холоден и рассудителен, он размеренно исполняет свой, чуждый живым людям, гробный ритуал, поклоняясь и принося кровавые жертвы своему идолу. Душа революционера подобна допотопной окаменелости, и даже в его митинговой мимике в движениях есть мертвенная автоматичность.

Неукоснительная революционная механика впервые приводится в движение не палачами, а преступными писаниями кабинетных заговорщиков. Для того, чтобы выпустить из тюрем и сформировать полчища революционных убийц, нужна предварительная печатная пропаганда, долгая и сознательная работа над искажением всех понятий, жизненно создававшихся веками. Не сразу же и не по шучьему велению

стали называть люди черное белым, племя нацией и Робеспьера святым апостолом.

Истинная живая жизнь развивается трагично, ибо только в трагедии есть доподленное волнение и движение. Противоречия жизни, революция отвергает трагедию и потому прежде всего покушается на религию, на Голгофскую Жертву, завещавшую нам жить в огненном горении и принимать, наравне с радостью, страдания, нищету и муку, как путь, ведущий к абсолютному бытию. Вопреки революционной надписи над Иверской часовней, не упование на Бога, а революция — опиум для народа. Именно она принципиально погружает людей в застой и оцепенение. Отрицая жизнь, одурманивая человечество, она бросает лозунг: «одним хлебом будет жив человек». Но великий, благословенный парадокс жизни к счастью показывает обратное, и Призывавший нас к Царству Небесному пятью хлебами насытил толпу, а революция неспособна дать человеку даже сухой корки, оттого, что наш хлеб насущный дается нам свыше и отрицающий божественный источник питания лишается пищи.

8.

Если человек, желающий жить, бежит от хаоса в поисках государственного порядка и относится с отвращением к революции и ее деятелям, по духу своему внесловным интеллигентам, разночинцам и мещанам, то это вовсе не значит, что он любит так называемую правую реакцию и ее деятелей. Правда правые все же немного лучше левых, поскольку в общезжитии беспросветная животность приемлемее насильственно осуществляемых злых и завистливых человеческих домыслов. Но все же из зоологии сносного государства не выкроишь и под ее началом не займешься плодотворно честным ремеслом. Духовную сущность имперского строя правые подменяют животной органичностью, искренно полагая, что для успешного управления государством, достаточно обладать инстинктами сторожевого пса, пасущего стадо овец.

Ссылки правых на их преданность церкви не убедительны; разложение Московии и закат Российской Империи, ясно обозначившийся к концу царствования Александра II-го показали нам, как умеет правая реакция приноровлять к собственному житью-бытью величайшее религиозное откровение, обращать в бытовое исповедничество даже вселенское православие. Правые и левые одинаково подтачивают религиозную сущность человека, одни своею зоологичностью, другие своею неорганичностью, дурной абстрактностью, мертвой теоретичностью. Захватив власть, правые силятся обратить людей в животных, левые — в одержимых или же в безразличных ко всякой идее автоматов западно-европейского и северо-американского образца. Правая реакция пытается остановить волнение и движение бытия и подменить их неподвижностью и обманчивым покоем быта, а революционный прогресс, симулируя тревогу и стремление, кратчайшей дорогой ведет к небытию. Правые обожают бескрылые обычаи и принципы, левые же, быть может, сами того не зная, поклоняются нулю, свершают свой социалистический ритуал во славу ничтожества.

Большим заблуждением было бы думать, что творческая имперская идея находится в «золотой середине», между правым и левым. Нет, она инородна, инопланна им и обретается высоко над ними. Дальновидная мудрость московских князей и царей и российских императоров до Николая I-го включительно именно в том и состояла, чтобы бороться с правой и левой «общественностью», властным вмешательством пресекая ее двустороннее патологическое разрастание. Это, взятое нами в кавычки, будничное, серое слово особенно привилось и вошло в моду в нигилистические шестидесятые годы и уже тогда ничего путного не предвещало. Но российское имперское правительство потому и шло, как заметил Пушкин, впереди народа, что до поры до времени искусно пользовалось для созидательных целей смертоносными микробами правой и левой «общественности». Оно, как врач, дозировало яды и тем сохраняло равновесие государственного организма. Но имперские консервативность и прогрессивность

не имеют ничего общего с правой реакцией и левым прогрессом, и прежде всего потому, что идут они сверху и осуществляются властью богопомазанной, тогда как все правые и левые, возникая в народной толще, в племенной утробе, способны только к застою и погрому. Российская государственность, с первых дней своего зарождения, основалась у горних церковных, ничем не замутненных истоков. Малейшее искажение вселенского православия всегда грозило ей падением и гибельными уклонами или вправо — в бытовое исповедничество, в первобытно-языческий фетишизм, или влево — в атеизм и прямое богоборчество. Русская и российская государственность держалась не на юридиклизме, не на законах и праве, а исключительно на религии. Потому стоило хотя немного замутить истоки православия, чтобы тотчас же, все полетело в пропасть. В прежние годы это лучше всех сознавал Константин Леонтьев, за сорок лет до революции видевший ее неизбежность и различавший все ее поистине проклятые фазы. Но лучше приведем полностью его пророческие слова:

«Либерализм, простертый еще немного дальше, довел бы нас до взрыва, и так называемая конституция была бы самым верным средством для произведения насильственного социалистического переворота, для возбуждения бедного класса населения противу богатых, противу земледельцев, банкиров и купцов, для новой ужасной пугачевщины. Нужно удивляться только, как это могли некоторые, даже и благонамеренные, люди желать ограничения царской власти, в надежде на лучшее умиротворение России. Русский простолюдин сдерживается гораздо более своим духовным чувством к особе богопомазанного Государя и давней привычкой повиноваться его слугам, чем каким-нибудь естественным свойствам и вовсе не воспитанным в нем историей уважением к отвлеченностям закона. Если бы монархическая власть утратила бы свое безусловное значение, и народ понял, что теперь уже правит им не сам Государь, а какими-то неизвестными путями избранные и для него ничего не значущие депутаты, то, может быть, скорее простолюдина всякой другой

национальности, русский рабочий человек дошел бы до мысли о том, что нет больше никаких поводов повиноваться. Теперь он плачет об убитом Государе (Александре II-м) в церквях и находит свои слезы душеспасительными, а тогда о депутатах он не только плакать бы не стал, но потребовал бы для себя как можно больше земли и вообще собственности и как можно меньше податей. За свободу же печати и парламентских прений он не станет драться.

Народ наш понимает и любит *власть* больше, чем закон. Хороший «генерал» ему понятнее и даже приятнее хорошего параграфа устава. Конституция, ослабивши русскую власть, не успела бы в то же время внушить народу английскую любовь к законности. И народ наш прав! Только одна могучая монархическая власть, ничем, кроме собственной совести, не стесненная, освященная свыше религией, обласловенная церковью, только такая власть может найти практический выход из неразрешимой, по-видимому, современной задачи примирения капитала и труда».

Никто из современников Константина Леонтьева не видел с такой навязчивой, беспощадной ясностью, как он, грядущей русской революции во всех ее проявлениях и деталях. Незадолго до своей смерти, последовавшей в 1891 году, он пишет: «Церкви и монастыри еще не сейчас закроют: лет двадцать, я думаю, еще позволено будет законами русским помолиться». И добавляет к этому страшное пророчество, в наши дни, по-видимости, столь близкое к осуществлению: «Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертоносному пути всесмешения и — кто знает — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой веры, — и мы неожиданно из наших государственных недр, сперва бессловесных, а потом бесцерковных, родим антихриста».

Константин Леонтьев жил и развивался при трех императорах, или вернее, при Императоре Николае I-м и Царях Александре Втором и Александре Третьем. Возмужания, умственного и творческого расцвета Леонтьев достиг в годы царствования Александра Второго, среди духовно-чуждых

ему людей. С содроганием и отвращением наблюдал он на практике, как подготовляла революцию русская левая и в особенности правая «общественность».

Снижение имперской идеи в умах и сердцах людей, призванных править Россией, началось вскоре же после смерти Николая Первого. Возможность такого снижения подготовлялась давно в барских и разночинских кругах, славянофилами, либералами и нигилистами одинаково. Правительство Николая Первого совершенно сознательно, во имя имперской идеи, сдерживало натиск этих реакционно-революционных сил и, искусно пользуясь враждою разных народнических группировок, ослабляло, как могло, их зловерное влияние.

Реформы при Александре Втором, сами по себе необходимые и государственно-разумные, проводились наспех и не так, как того требовала крайне сложная российская действительность. К тому времени наши народные герои, вековые, неистребимые Стеньки Разины и Пугачевы, успели непомерно расплодиться и, наскоро натянув на себя европейские пиджаки и сюртуки, при поддержке жаждущих самоистребления, распущенных московских бар, напирали снизу, угрожая прорвать и без того тонкий слой культуры, сияясь растоптать духовное достояние нации.

В иных условиях, при иных соотношениях, снова намечалось старо-московское разложение, на этот раз несравнимо более опасное, питавшееся идеями французской революции, приведенными вдобавок в нелепую азиатскую систему.

Идеи французского просветительства, впервые приложенные к жизни во Франции, сразу же обнаружили свою абсолютно злую, ненасытно-кровавую сущность. Временно приглушенные Наполеоном у себя на родине, они разносились им по всей Европе. Обещаниями призрачных свобод он надеялся утвердить повсюду свое владычество; посулами несбыточных равенства и братства он полагал смягчить недовольство побежденных, стонавших под непосильной тяжестью военных контрибуций.

Соблазнительные идеи французской революции, приве-

зенные, после победы над Наполеоном, в Россию возвратившимися из Парижа русскими дворянскими недорослями, наткнулись на непреклонную волю Александра Первого и вынуждены были на первых порах уйти в подполье. Провалившийся декабрьский бунт и неудачный заговор петрашевцев показали бунтовщикам, что еще рано вылезать наружу, что Император Николай Первый шутить нисколько не намерен. Благоприятные условия для развития печатной и устной революционной пропаганды создались только при Александре Втором. Предпринятые государственные реформы, к сожалению, не столько раскрепостили тогда крестьян, ставших рабами общины, сколько разнуздали притаившихся революционных неудачников из разночинцев, сбившихся с пути семинаристов, по примеру своего старшего собрата, Белинского, уверовавших, пуще чем в Господа Бога, в науку и социализм. Согласно свидетельству беспристрастных современников, все эти передовые водители умов — Зайцевы, Добролюбовы и Чернышевские, очевидно из презрения ко всякой оформленности, к языковой ясности и точности, не говорили, а гавкали, и в ответ на вопросы цедили сквозь зубы какую-то мутную нигилистическую дрянь.

Такой совершенно новый, передовой способ изъяснения, — говорит Николай Щербина, — имел большой успех у бессословной черни, невероятно обнаглевшей в знаменитые шестидесятые годы:

Когда был в моде грубочист,
А генералы гнули выю,
Когда стремился гимназист
Преобразовывать Россию.

Сам Щербина, человек острый и умный, одобряя в принципе правительственные реформы, нисколько не разделял восторгов «освободительного движения» и откровенно признавался в стихах:

В те дни в бездействии влачил
Я жизни незаметной бремя
И счастлив, что незнаем был
В сие комическое время.

Однако, как мы хорошо знаем, «сие время», по отдаленным своим последствиям, оказалось совсем не комическим: оно предвляло наше ныне свершившееся, окончательное «освобождение». От чего? Да от всего понемножку, в том числе и от чести, утраченной нами в феврале 1917 года.

У ИСТОКОВ РЕВОЛЮЦИИ

(перечитывая «Окаянные дни» Бунина)

1.

Мудрая поговорка гласит: «из народа, как из дерева, — и дубина, и икона». Поговорку эту приводит Бунин в своих «Окаянных днях» и справедливо добавляет от себя: «Да, в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев».

Но после позорных весны и лета 1917 года настал на Руси такой невиданный ужас, перед которым злодеяния Пугачева и Разина показались всем невинной детской сказкой. Правду надо сказать до конца: освобожденный февральскими деятелями от «царского ига», ставший вполне суверенным, народ откровенно предпочел всему, в том числе и хлестаковскому «февралю», разбойный «октябрь». И понадобились долгие годы дьявольского опыта, сущего ада на русской земле, чтобы все население России в целом отшатнулось от своих социалистических мучителей.

Вспоминая о кровавом октябрьском перевороте, законном детище многоречивого «февраля», Бунин пишет в «Окаянных днях»:

«Каин России, с радостным безумным остервенением бросивший за тридцать серебрянников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась... И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, — видит Бог, воистину так!

Вечерел темный, короткий ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязь-

ная, обесчещенная, расстреленная и уже покорная, приняла будничныи вид...

Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма не склонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог».

А позднее, вслед за Буниным, заплакала и вся Россия. Плачет она кровавыми слезами и до сих пор. Но как же случилось все это? И где первопричина, где истоки величайшего в мире зла, которое привычно и потому обесцвечено называем мы русской революцией?

До конца понятным и ясным пребывает одно: страшное, ни с чем не сравнимое революционное зло могло осуществиться у нас лишь после того, как имперская идея, завещанная нам Петром, померкла и наконец погасла в умах и сердцах людей, непосредственно находившихся у власти. Это померкание, погасание созидавшей Россию идеи началось с шестидесятых годов прошлого столетия совсем не по причине проводимых тогда правительством либеральных реформ, нужных и разумных, а в прямой связи с так называемым «освободительным движением» и, главное, в связи с идущими справа славянофильскими народническими идеями, отравившими постепенно лучшие государственные умы.

Во главе «освободительного движения», не только не имевшего ничего общего с либеральными реформами, проводимыми сверху, но крайне враждебного им, надо по справедливости поставить праотца русского большевизма, тупого, малограмотного Чернышевского, любимого ставленника нигилистов, угодливо одобряемого из малодушия многими тогдашними барями-либералами, заслужившими от Щедрина меткую кличку — «применительно к подлости». Впрочем этой кличкой Щедрин невольно определил и свой собственный либерализм, не препятствовавший ему мирно сотрудничать с Чернышевским и другими нигилистами в «Современнике» Некрасова.

Правдиво говорить о писаниях и деяниях Чернышевского это значит обнаруживать сущность «освободительного дви-

жения», это значит касаться истоков и русского атеистического народничества, и большевизма одновременно.

Конечно, к литературе, и особенно художественной, Чернышевский никакого отношения не имел, точнее не должен был бы иметь. Но уж так печально сложилась во второй половине девятнадцатого века русская действительность, что истинные мастера и художники слова в лучшем случае лишь терпелись нами, искупая свое служение искусству либеральными позами и дешевой демагогией. Непокорных поэтов и писателей сообщая предавали анафеме, подвергали интеллигентской цензуре, невежественной и беспощадной, замалчивали, погружали в забвение. Так поступили победоносные интеллигенты с Писемским, Случевским, Лесковым, Константином Леонтьевым. Кто помнит теперь романы, рассказы, и театральные пьесы Писемского? А между тем, одна «Горькая Судьбина», благоговейно отмеченная Инокентием Анненским, подлинная социальная драма, написанная рукою великого мастера, принесла бы ее автору, родись он в любой западно-европейской стране, неувыдаемую славу. Но Писемскому мы предпочли примитивного и вульгарного Горького, Константину Леонтьеву — Чернышевского, бездарного, бесильного оформить словесно даже самые элементарные свои измышления. Чего стоит, хотя бы, ставшее знаменитым заглавие Чернышевского:

«Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, если только буду убежден, что мои убеждения справедливы, и восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убежден».

Все написанное и напечатанное Чернышевским, — а напечатано им целых 600 печатных листов, — по языку, стилю и убожеству домислов, ничем не отличается от приведенного мною отрывка. И подумать только, что этот человек был учителем гимназии, преподавал детям русский язык, учил их последовательно думать, развивал в них вкус и чувство слова! А роман Чернышевского «Что делать?» — с которым

с литературной и общекультурной точек зрения решительно нечего делать, — читался запоем русской молодежью, был настольной книгой наших дедов и неизменно всеми превозносился, вплоть до всероссийской катастрофы. За что? За открытую проповедь коммунизма, разврата, безбожия, за ненависть к прошлому России, к ее истории, обычаям и верованиям. Стоит вспомнить хотя бы о этой всеобщей любви к словам и деяниям Чернышевского, чтобы понять совершенную неизбежность, роковую неотвратимость нашей гибели. Странно было не заметить цинизма Чернышевского, его злобы и стремления к разрушению всего. Но в том-то и дело, что злая воля к погибели полностью овладела Россией, начиная с половины прошлого века. В лице Чернышевского русские люди поклонялись своему желанному будущему, правда, несколько туманно предстоявшему их воображению. Ведь вряд ли кто-либо из русских интеллигентов взялся бы с точностью определить истинное содержание проповедей Чернышевского. Первый с трезвостью и ясностью исключительной сделал это Ленин. «Чернышевский, — говорит он, — был социалистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную крестьянскую общину, который не видел, и не мог в шестидесятые годы прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не только социалистом-утопистом, он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя через препоны и рогатки цензуры идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение решительно всех старых устоев и властей».

Все крепко стоит на месте в этом определении Лениным старого русского большевика, инстинктом, ощупью подготавливавшего в России осуществление большевизма. Некоторая элементарность социалистических домыслов Чернышевского объясняется его незнанием сочинений Маркса и Энгельса. Зато эти канонизированные большевиками столпы социализ-

ма по-своему высоко ценили Чернышевского. Маркс писал о нем: «Это великий русский ученый и критик, а его труды делают действительно честь России». А Энгельс добавляет: «Россия — страна, выдвинувшая двух мыслителей, масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух великих социалистических Лессингов».

Так восхваляли Чернышевского, а по пути и Добролюбова, вожди всемирной революции, профессиональные подстрекатели народов к убийствам и насилиям. Удивительного в этом нет ничего. Гораздо менее понятно восхищение Чернышевским, проявленное простыми и добрыми русскими людьми, а вслед за ними «храмом науки» — Петербургским университетом, безоговорочно одоббившим диссертацию на звание магистра, опубликованную этим нигилистом в 1853 г. Науковерие и далеко не научный материализм к этому времени уже окончательно успели поработить «передовые умы российской профессуры». Чернышевский отрицал сущность искусства, красоты и религии, и этого одного было достаточно для признания его первоклассным ученым, мыслителем и писателем.

Вот, например, определение Чернышевским возвышенного и прекрасного:

«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами. Возвышенный предмет — предмет, много превосходящий своим размером предметы, с которыми сравнивается нами. Возвышенное явление — которое гораздо сильнее других явлений, с которыми сравнивается нами». (Сбор. соч. т. X, ч. II-я, стр. 97)

Этот жалкий домысел, столь малограмотно и неряшливо выраженный, «великий русский ученый и критик» пытается подкрепить примером. Оказывается, «возвышенное не в перевесе идеи над явлением, а в характере самого явления... Монблан и Казбек — величественные горы потому только, что гораздо огромнее дюжинных гор и пригорков».

Вообще, величественное и возвышенное определяется Чернышевским по принципу не качественному, а количественному. Свое рассуждение о возвышенном он увенчивает

поистине высоко комическим заявлением: «Отелло возвышен потому, что ревнует гораздо сильнее дюжинных людей... *Гораздо больше, гораздо сильнее* — вот отличительные черты возвышенного».

Итак, если кто-либо расшибет кому-либо физиономию, гораздо больше и гораздо сильнее, чем расшибали до сих пор, он совершит поступок, величественный и одновременно возвышенный? По мысли Чернышевского выходит не иначе.

Рассуждения Чернышевского о красоте и возвышенном настолько возмутили Тургенева, что, изменив своей обычно лукавой тактике, он написал Краевскому откровенное письмо: «Спасибо Вам за то, что у Вас отделили гадкую книгу Чернышевского. Давно я не читал ничего, что бы меня так возмущало. Это хуже, чем дурная книга: это дурной поступок».

Тургеневу вторил тогдашний министр народного просвещения Норов, упрекавший декана историко-филологического факультета Устрялова: «Как могли Вы пропустить диссертацию Чернышевского? Ведь это вещь невозможная. Ведь это полнейшее отрицание искусства. Помилуйте, Сикстинская Мадонна-итальянка-натурщица! К чему же сводится искусство?»

Но тщетно бранился Тургенев и возмущался Норов, — деканы подобные Устрялову, и мыслители в духе Чернышевского легко и всецело восторжествовали в России...

«Позвольте, как это там у Гегеля? «Возвышенное есть проявление абсолютного; искусство отражает высшую реальность и более истинное существование, чем наша обыденная действительность»... Да за такие выдумки расстрелять мало! То ли дело: «возвышенное есть то, что гораздо...», и т. д.

По утверждению Чернышевского, «мысль материальна и ничем не отличается от любой химической реакции», а искусство и в частности литература «должны всегда руководствоваться критическим реализмом, просвещающим умы и изобличающим художественными средствами строй насилия и обмана». Справедливым становится после этого краткое заявление Ленина: «своими подцензурными статьями Чернышевский умел воспитывать настоящих революционеров».

Но какие же качества необходимы настоящему революционеру? Безбожие, неспособность воспринимать прекрасное, завистливость и ненависть ко всему прошлому, словом, очень низкий уровень духовного и душевного развития. Этими свойствами с детства и до самой своей смерти отличался Чернышевский, с героизмом тупости переносивший ссылку, лишь бы увидеть на старости лет торжество своих «идеалов», — крушение церкви, искусства и ненавистного Российского Государства.

Как и все, по выражению Достоевского, «русские мальчишки», Чернышевский чрезмерно торопился, — осуществления своих «идеалов» увидеть при жизни ему не удалось.

Царство «русских мальчиков» общими нашими усилиями наступило несколько позднее, а именно в феврале 1917 года.

2.

Правительство Александра Второго долго, слишком долго, переносило нигилистические писания Чернышевского и его сподвижников, не принимая мер к пресечению все разраставшегося безобразия. Такое попустительство можно объяснить только одним: тлетворное дыхание французской революции успело к 1860 году в какой-то степени поколебать веру в имперскую идею даже в людях, призванных править Россией. Поистине правая рука тогдашнего правительства не знала, что делала левая. Такое положение, весьма похвальное с точки зрения христианской, в государственном отношении было не чем иным, как болезненным раздвоением ума, расщеплением имперского сознания, созидавшего Россию.

Спору нет, царствование Александра Второго во многом величественно. Чего стоят, хотя бы, судебные преобразования и раскрепощение крестьян, к сожалению не доведенное до конца. А успешное завоевание Кавказа, столь справедливо названное *замирением* самими покоренными народами! Эти старые, своевольные и гордые национальности очень скоро поняли, что присоединение к великой империи, стоящей вы-

ше каких бы то ни было племенных соображений и претензий, совсем для них не унизительно, но, напротив того, спасительно и благотворно. Российский имперский дар к духовному обмену веществ был по достоинству оценен многообразными, религиозно глубоко культурными кавказскими национальностями, к тому же сердечно тронутыми рыцарственным пленением Шамиля.

Но, наравне со все еще могучим имперским размахом и подлинным христианским великодушием, проявлялась непростительная слабость по отношению к обнаглевшим народникам, левого и правого толков, от нигилистов и подлых подпольных заговорщиков до славянофилов включительно. Более того, иные крупные представители власти открыто сочувствовали славянофильским воззрениям, поощряя слащаво-сентиментальные идиллии бытового исповедничества, вреднейшую проповедь великорусской избранности. Злокачественные испарения славянофильской пропаганды отуманили даже очень умные головы. Имперские принципы снижались. Сам император подчас мнил себя старо-московским царем, призванным блюсти отжившие великорусские традиции. В бюрократической и придворной среде, дотоле трезвой и деловой, стало замечаться особого рода заболевание: туманное верование «в мужика вообще, что смиреньем велик». Именно это неопределенное верование, перешедшее постепенно в подобие какой-то уродливой веры в единственно полноправный черный народ, и привело Распутина в царский дворец. Пока же, в ожидании такого полного торжества народнических идей, правительство Александра Второго, под лозунгом славянского «мужика вообще», повело Балканскую войну 1877 года. По официальной версии поддержанной без малого всем русским обществом; смиренный русский мужичок-славянин выступал на помощь своим младшим братьям-славянам против турецких угнетателей. Впервые со дня существования Империи, великодержавный Петербург вел войну, руководствуясь официально и громогласно племенными принципами. Это роковое заблуждение подало повод внешним врагам России обвинить ее в служении бессмысленной идее панславиз-

ма. Но особенно разлагающей оказалась официально пущенная сверху славянофильская пропаганда тем, что она пробудила туземные инстинкты, не только у великороссов и малороссов, но и народов самых отдаленных украин России. Отсюда зародились у нас различные сепаратистские стремления, дотоле тщетно раздувавшиеся подпольными героями, сторонниками самоопределения народностей.

Славянофильское безумие охватило власть имущие столичные круги и из выдающихся людей того времени только двое оставались в стороне от зловещих племенных самоупований: Лев Толстой, эгоистически предававшийся тогда семейному счастью, уютным помещичьим идиллиям, и Константин Леонтьев, сразу же трезво оценивший положение. Предвидя революционную катастрофу, к которой, по его мнению, неизменно должна была привести подобная измена имперской идее, Леонтьев писал:

«Национальное начало, лишенное особых религиозных оттенков и форм, в современной, *чисто племенной наготе своей, есть обман*. Племенная политика — есть одно из самых странных самообольщений XIX-го века. Национального, в действительном смысле, в племенном принципе нет ничего». «Панславизм это идеал, современно эгалитарно либеральный; это стремление быть, как все. Это все та же общеевропейская революция». «Самый жестокий и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископ, какого бы он ни был племени, хотя бы крещеный монгол, должен быть нам дороже двадцати славянских демагогов и прогрессистов». «Любить племя за племя — натяжка и ложь. Истинно национальная политика должна и за пределами своего государства поддерживать не голое племя, а те духовные начала, которые связаны с историей племени, с его силой и славой. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти... Национальное начало вне религии не что иное, как начало эгалитарное, медленно, но зато верно разрушающее». «Люди, освобождающие или объединяющие своих единоплеменников в XIX веке, хотя и чего-то национального, но достигая своей политической цели, они произ-

водят лишь космополитическое, т. е. нечто такое, что смешивает все более и более этих освобожденных или свободно объединенных единоплеменников с другими племенами и нациями в общем типе прогрессивного европейского мещанства». «Что такое племя без системы религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? *И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное!* Все великие нации очень смешенной крови... Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушающей силы и ничего созидającego, наций культурой не обособляющая; ибо культура есть не что иное, как *своеобразие*».

Одинокий голос Константина Леонтьева так и остался неслышанным. Фальшивые панславянские лозунги, по существу революционные, продолжали углублять племенную разнь в Российской Империи, весьма далекой, по своему человеческому составу, от всего славянского, ибо даже великороссов и малороссов, крайне смешанных по крови, можно причислять к славянам лишь с превеликой натяжкой.

Славянофильские теории, в начале XIX-го века занесенные в Россию, «из Германии туманной» и обработанные на русский лад исключительно одаренными людьми, вначале принимались большинством за благодушную обрядово-бытовую идиллию, мечтать о которой было очень удобно и приятно, лежа на мягком диване, в стеганном халате и теплых туфлях, особенно после длительного, как говорится у Гоголя, «заезда к Сопикову и Храповицкому» — после мертвецкого сна на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями».

Какой-нибудь раскосый Сысой Пафнутьевич, а за ним и некий «гордый друг славян», рыжий Макдональд Карлович, о которых никто и ничего до сих пор не слыхивал, авторитетно возвышали голос в защиту всего исконно славянского, требуя примерной казни для предательского Чаадаева, врага национальных реликвий, кремлевских Царь-Колокола, никогда не звонившего, и Царь-Пушки, никогда не стрелявшей.

Поставленное в строгие грани Императором Николаем Первым, славянофильство долгое время казалось очередным салонным домыслом, порожденным талантливыми людьми для всеобщего развлечения, но стоило Александру Второму несколько ослабить правительственный надзор, как оно тотчас же, наравне с нигилизмом и безбожным народничеством, разрослось в нечто безликое, грозящее гибелью Российскому Государству.

Для успешного ведения Балканской войны 1877 года, русское правительство, вполне одобряемое монархом, захотело воспользоваться славянофильскими идеями и тем наметило закат Российской Империи. Стилизованное народничество, приукрашенное внешней обрядностью и былинными сказаниями о сусальном-православном мужичке-простачке, докатилось, наконец, до царского трона. Так непоправимая идеологическая ошибка задолго предуготовила Распутину торжественный доступ ко дворцу.

Появление в государстве правых и левых сообществ, легально допускаемых правительством политических партий, есть признак распада, утраты духовной органичности. Целое, в себе нерасчленимое, либерально-консервативное начало, присущее правящей, ведущей элите, возможной только при монархии, снижаясь до так называемой общественности, распадается, перестает быть духовно-идейным организмом, превращается в дробь внежизненных партийных абстракций, дурных отвлеченностей, мертвых теорий, при всяком удобном случае, то справа, то слева, насильственно навязываемых жизни живой.

Политические партии, почти открыто терпевшиеся правительством, образовались у нас впервые в царствование Императора Александра Второго, причем, благодаря русской склонности к анархии и самоистреблению, либерально-левые и особенно крайне-левые настроения очень скоро возобладали над правой неподвижной рутинной. Сословные грани стирались, началось медленное смещение отстоявшихся традиций и верований, неминуемо ведущее к всеобщему смеше-

нию и расхищению культурных ценностей. Не только у дворянства и у купечества, но и у самого правительства, ослабла вера в имперскую идею, *всегда бывшую в России, в своих скрытых религиозных возможностях, светским преломлением вселенского православия, его эманацией*. Неистовая левая болтовня раздуваемая писаниями демагогов в течение двадцати пяти лет, довела нас, наконец до первого царубийства. Я говорю «нас», ибо страшное преступление 1881 года происхождения не дворцового, но общественного, обще-русского, и общую вину в какой-то мере разделяет с нами даже сам убитый Император, слишком часто проявлявший прекраснодушие, при всех обстоятельствах вредное, а в государственном отношении совершенно недопустимое. Если левая пропаганда сумела в те годы объединить всех убийц по убеждению, всех глупцов, невежд и безбожников, а правая рутина умудрилась кое-как пособрать все мертвые души, всех отживших и неживших, то розовое прекраснодушие чистого идеализма успело неведомым образом отуманить и одурманить даже лучшие головы.

Трезвым и зорким до конца оставался тогда лишь один Константин Леонтьев.

3.

Под воздействием революционного подполья, нигилистических писаний и славянофильской народнической пропаганды, поощряемой сверху, русские люди, убийством Александра II-го, переступили черту, последнюю запретную грань, отделявшую их от неизведанной пропасти. Правительству Александра III-го, казалось бы, оставалось только бить отбой, опираясь при отступлении на все еще живую имперскую идею, или валиться в бездну со все возрастающей быстротой. Александр III нашел однако третью возможность ни губительную, ни спасительную, но до поры до времени замораживавшую. Царь прибегнул к тактике неподвижного пребывания на месте. Живой и целебной имперской консерватив-

ности, в трудную минуту всегда спасавшей положение, он предпочел откровенную, типично партийную правую реакцию.

Все застыло, отяжелело и как бы приросло к земле. Памятник, поставленный впоследствии Александру Третьему в Петербурге, несмотря на всю его творческую бескрылость, а может быть именно благодаря ей, очень верно отразил серые, неподвижные будни нашей правой реакции. Эта мертвенная неподвижность сказала, между прочим, *на всех отраслях искусства, всегда связанного не явно и прямолинейно, а незримо и таинственно, со своею эпохою*. На русскую литературу, поэзию, музыку, живопись и архитектуру этого времени легла печать безвкусыя и бесстильности. Любопытнее всего, что все образованные русские люди, достигшие к восьмидесятым годам приблизительно двадцатилетнего возраста, так навсегда и остались, за редчайшими исключениями, слепы и глухи к религии и искусству. С одной стороны, принятые ими от предыдущего поколения нигилистические и народнические идеи, с другой, осенившее их скудную молодость реакционное болото, с его возродившимся бытовым исповедничеством и грубым натурализмом псевдо-искусства, окончательно подавили в них религиозные и эстетические чувствования. В этом отношении весьма характерны и поучительны «Очерки по истории русской культуры» Милюкова. Безнадежная бездарность и дикое, чисто нигилистическое самомнение этого журналиста, публициста и политика оказались в данном случае вполне «приличны песне». Язык или вернее жаргон, на котором написаны «Очерки», и все сказанное в них о религии, искусстве, истории и государственном созидании, принадлежит по праву не одному Милюкову, но без малого всему его поколению, развращенному нигилизмом и обесцвеченному в молодые годы безыдейной правой реакцией, показавшей свою полную неспособность к какому бы то ни было духовному движению. Словом, в «Очерках» Милюков явил собою некую типичную для его современников помесь Чернышевского с околодочным надзирателем, сочетание скверной насмешки инад религией и ве-

ковыми устоями, с затаенным желанием пристукнуть всех инакомыслящих.

В царствование Александра Третьего, в среде более или менее образованного русского общества, скрытно, исподволь, нарастали революционные вожеления, а правительственными сферами по-прежнему владели смутные славянофильские настроения и реакционная боязнь всякого творчества.

Правительственный безыдейный застой, обедняя и обесцвечивая духовную жизнь российской нации, нисколько не мешал все растущему экономическому благосостоянию страны, что чрезвычайно характерно для предреволюционных периодов. Точно такое же материальное благополучие наблюдалось при Людовике XVI-м в годы, предшествовавшие французской революции. Вообще, настоящая революция, в отличие от смуты и бунта никогда не возникает и не может возникнуть из неудовлетворенности материального порядка. Она зарождается в безрелигиозной пустоте, когда правящие страной государственные круги теряют веру в духовную зиждательную идею, до того ими же самими насаждаемую и прививаемую сверху.

Если природа не терпит пустоты, то не выносит ее и душевный мир человека. «Сердца собратьев», не оплодотворяемые более правящей элитой, изменившей идее, становятся восприимчивы к *исевдоидее*, и к ним легко находят дорогу шарлатаны от науки, искусства и политики. Тогда произведения вроде романа Чернышевского «Что делать» и «Очерков» Милюкова заполняют образовавшиеся духовные пустоты своими баснями и лжеучениями, враждебными религии и творчеству. Тогда вступают в силу французские энциклопедисты, истинные делатели революции, куда более изощренные во лжи и клевете, чем наши доморощенные вольнолюбцы, легковесные русские мальчишки. Но все же любого русского папильона от либерализма, несмотря на его идейную невесомость, всегда хорошо характеризовали строки из эпиграммы Дениса Давыдова, к сожалению, в свое время направленные автором не по адресу:

Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как вольный Мирабо
Вольность прославляет.

А, глядишь, наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус, да в рыло,

А, глядишь, наш Лафайёт,
Брут или Фабриций,
Мужичка под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Или, глядишь, сдает идеалист, по примеру героя Достоевского, Степана Трофимовича Верховенского, своего крепостного человека в солдаты, в уплату за карточный долг. Или же, наконец, за упразднением крепостного права и вышедших из моды жабо, занимается он подобно некоему свободолюбивому депутату Государственной Думы, незаконными торговыми сделками и денежными спекуляциями. И уж тут не скоро заметишь в чем дело, ибо внешний облик либерала-спекулянта предреволюционной формации бывает зачастую безупречнее и возвышеннее, чем у самого опытного международного афериста.

В царствование Александра Третьего правая реакция обрзовала немало душевных пустот и провалов. Они множились под напором сильной, но безыдейной воли самого Царя. Эта воля, принуждавшая всех к неподвижному пребыванию на месте, спиною к Европе и лицом к Азии, могла, во исполнение славянофильских заветов, лишь временно охранить страну от революционной гибели.

Душевный мир человека жаждет развития и движения. Это знал Петр Великий, создатель Российской Нации, и этого не ведало правительство Александра Третьего, остановившее и в сущности отменившее дело Петра.

По слову Лейбница, жизнь есть ряд неустанных рождений и развитий (developpement), а смерть не что иное, как уменьшение, сворачивание (enveloppement). Александр Третий сворачивал свиток величественных деяний, развернутый некогда Петром и его верными последователями, он упразднил Империю и заменил ее захолустным азиатским царством, гробом имперских стремлений. Царь не мог забыть ужасной смерти своего отца, а с нею и гибели священного всероссийского символа отцовства. Спасая монархию, он остановил всякое движение, в надежде предохранить страну от окончательной революционной катастрофы. Личной воли на это у Александра Третьего хватило с избытком, но ему недоставало главного — творческого дара и духовности. Ничем не одухотворенные усилия Царя были тщетны, и русский Ариман — злой бог насилия и самоистребления — уже выслеживал свою жертву, Россию, как высматривал у Гоголя подземный Вий, предводитель нечистой силы, несчастного Хому Брута, простодушного ответчика за мировые грехи.

Александр Третий был хорошим и честным русским царем, но императором он не был. Все свои положительные качества, кроме мощной воли, и все недостатки своих ущемленных государственных воззрений, он передал наследнику, по восшествии на престол Императору Николаю Второму.

С начальных же дней трагического царствования этого последнего русского царя стало ясно, что имперская идея утрачена верхами безвозвратно, и что правая реакция, вызванная личной волей Александра Третьего, пошатнется от первого испытания, от малейшего, снизу направленного толчка, стоит только революционным вожакам умело противопоставить правительственной безыдейности, свою, пусть злую и смертоносную, но во всяком случае взрывчатую идею. А между тем, подлинно творческие силы российской нации к этому времени еще далеко не иссякли. Не поддержанные правой реакцией и презираемые многочисленными последователями русского нигилизма, наследниками Чернышевского, сумевшими, кстати сказать, несмотря на правительственные строгости, захватить печать в свои руки, эти творческие силы на-

чали проявлять себя с конца XIX-го века в единственно возможном направлении — в области художественной литературы и искусства.

Люди вкуса, ума и таланта дружно восстали против установленной левыми «анти-эстетической» цензуры. Если бы только Двор и вообще правительственные сферы, по примеру старинных времен, нашли в себе достаточно такта, остроты и энергии, чтобы деятельно поощрять этих зачинателей нового, они приобрели бы себе сильного союзника, глубоко ненавидевшего пыльную паутину, сотканную левыми, сумевшими за какие-нибудь три-четыре десятилетия почти полностью покончить с российским искусством. Но в том то и заключалось горе, что у правительственных кругов в те годы не было ни государственного такта, ни энергии, ни любви к художественному творчеству. Правители и омертвевшая бюрократия не понимали, какие громадные силы многообразного воздействия скрываются в искусстве. Даже простое меценатство, неизменно присущее в монархических странах правящей верхушке, окончательно перешло к началу XX-го века к московским купцам, занявшим, в сущности, всего лишь пустое место. Только музыка и балет, очевидно, признанные в политическом отношении безопасными, продолжали пользоваться поддержкой Двора, вплоть до февральского развала и, как всем известно, были чудом совершенства и сильной опорой правительства в делах внешних и внутренних. Но наши правительственные круги конца девятнадцатого и начала двадцатого века забыли те благодатные для российской монархии дни, когда наделяла Екатерина Великая чинами, орденами, именными, червонцами и золотыми, осыпанными бриллиантами табакерками, не только своих фаворитов и доблестных генералов, но и Державина и Фонвизина; когда поддерживал Александр Первый и денежно, и морально, Карамзина; когда всячески поощрял Николай Первый Крылова, Жуковского, Пушкина, Гоголя, Кипренского, Александра Иванова и многих других писателей и художников; когда, в чаянии толка от Льва Толстого, участвовавшего в чине поручика в Севастопольской кампании, Император писал Глав-

нокомандующему, повелевая ему не назначать в опасные места «надежду отечественной литературы», будущего автора «Анны Карениной». Правда, на старости лет, сидя на досуге в Ясной Поляне, Толстой сторичей отплатил Императору за заботы, назвав его в своем «Хаджи Мурате» «Николаем Палкиным». Но странно было бы ожидать иной благодарности от престарелого моралиста и сектанта, упоенного мировую славою.

Все, по-настоящему одаренные, писатели, поэты и художники конца XIX-го и начала XX-го века, не взирая на полнейшее равнодушие верхов и презрение левых, быстро покорили широкую публику, инстинктом искавшую опоры в каком-либо новом жизнедеятельном почине. Такой успех был немедленно отмечен руководителями левых журналов и издательств, умевшими, когда надо подавлять в себе неприязнь и привлекать к сотрудничеству чужеродные, в политическом отношении, неопытные силы. Вскоре вышло так, что все талантливые служители пера, за чрезвычайно редким исключением, очутились в левом лагере, на услужении у народников и марксистов.

Давно известно, что по журналам и издательствам творит атмосферу не искусство, а политика. Художественное произведение автора левого или правого, или же ко всему, кроме поэзии, равнодушного, при напечатании, невольно получает особую окраску от окружающих его политических статей. Они своим соседством политически обезвреживают идейно им чуждое творение, или же резко подчеркивают его приятные для них социальные тенденции. Так например, стоило бы Розанову опубликовать свои религиозно-метафизические и одновременно художественные размышления не в «Новом Времени», а в каком-либо левом журнале, как они тотчас же зазвучали бы для публики на иной лад. Или, скажем, стоило бы Блоку напечатать свои стихи о «Прекрасной Даме» не в левом модном журнале, а в том же «Новом Времени», о они сошли бы у читателя за нечто вполне ортодоксальное.

Вывод отсюда один: левые действовали хитро, а прави-

тельство поступало, по меньшей мере, недальновидно. Благодаря той же недальновидности, русская литература во всех учебных заведениях, распоряжением свыше, толковалась по Белинскому, и потому русские классики представлялись учащимися бравурными борцами за свободу и социальную справедливость, попираемую царским режимом.

Не считаться в государстве с какою бы то ни было духовною энергией, не стараться привлечь ее на свою сторону, есть предел близорукости. Высшие власти при Императоре Николае Втором пренебрегли силою слова, и оно, само того не ведая, всю свою мощь обратилось на них. Для обнаглевших, когда-то подпольных революционных героев, наступала светлая пора. Они, поскольку позволяла еще не совсем упрямая царская цензура, усиленно витийствовали по газетам и журналам, в ожидании особо благоприятного денечка. Тем временем, произошедший еще при Александре Третьем роковой поворот спиною к Западу и лицом к Востоку привел нас к ненужной, во всех отношениях нелепой дальневосточной войне. За эту неуместно проявленную воинственность Российская Монархия заплатила собственной жизнью. Первой расплатой за неудачную бесцельную войну была кровавая революционная проба 1905 года. И Бог знает, чем могла бы она кончиться, если бы не личная железная воля Дурново, беспощадно ответившего на насилие насилием.

Все как бы притихло, за исключением разнуздавшейся левой печати, обрадованной отменой цензуры, и демагогических выкриков Государственной Думы, несвоевременно, ибо в виде уступки, дарованной Монархом.

Спихватившееся царское правительство распустило Государственную Думу первого созыва, но выборгское воззвание, подписанное многими, по внешности вполне почтенными личностями из клана либерал-спекулянтов, тотчас же показало, что разложение общества уже достигло своего гибельного предела. Однако, власть имущие круги, казалось, не понимали этого. Ведали и ясно сознавали страшную опасность только люди религиозно-эстетического склада, по-

прежнему игнорируемые правительственными сферами. А ведь уже в 1907 году Мережковский открыто писал, обращаясь ко всем западным народам:

«Всея Европе, а не только какой-нибудь отдельной европейской нации, придется рано или поздно иметь дело с русской революцией или анархией. Ибо невозможно теперь уже определить то, что происходит в России: есть ли это только изменение политической формы, или прыжок в неизвестное, разрыв со всеми существующими политическими формами... Тем не менее ясно, что эта игра опасна не только для нас, русских, но и для вас — европейцев. Вы следите острым взором и с обеспокоенным вниманием за ходом русской революции, но все же со взором недостаточно острым, и со вниманием, недостаточно обеспокоенным: то, что происходит у нас, страшнее, чем вы думаете. Нельзя сомневаться в том, что, горя, мы не подожем в конце концов, и вашего дома?..» «Сила землетрясения, от которого разрушится тысячелетнее здание России, будет так могущественна, что все старые парламентские лавочки повалятся от нее, как карточные домики. Ни одна из этих лавочек не удовлетворит русскую революцию. Но тогда — что же удовлетворит ее и что будет потом? Это будет, очевидно, прыжок в неизвестное... полет в воздухе вверх тормашками».

В этом дальновидном и в то же время наивном воззвании есть подлинное ощущение бездны, которая вот уже тридцать семь лет, как поглотила Россию, и ныне своим отверстым зевом поджидает, быть может, слишком поздно и недостаточно смутившуюся и испугавшуюся Европу. Да, воззвание Мережковского, при всей своей прозорливости, было не лишено и наивности, ибо весьма переоценивало умственные способности европейских и американских правителей и зоркость так называемого общественного мнения цивилизованных стран. Только через много лет, в эмиграции, узнал Мережковский, а вслед за ним узнали и мы, чего стоит общечеловеческая и в особенности буржуазная косность.

4.

Смуту 1905 года царская власть подавила беспощадно. И не к лицу было профессиональным подстрекателям к грабежу и насилиям жаловаться на жестокость правительства. Ведь твердили же они всегда: «революция не делается в белых перчатках». На это их заявление справедливо отвечает Бунин в своих «Окаянных Днях»: «что же возмущаться, что контр-революции делаются в ежовых рукавицах».

Как бы то ни было, но по усмирении мятежа, Россия, пользуясь затишьем, начала богатеть. Такого благосостояния, такого могучего экономического роста она никогда еще не видывала. О российском материальном богатстве, в годы, непосредственно предшествовавшие февральской катастрофе 1917 года, говорили и писали все добросовестные экономисты, все трезвые, беспристрастные наблюдатели отечественной жизни. Война 1914 года не только не помешала все растущему народному благосостоянию, но по многим причинам еще приумножила его. В особенности богатели крестьяне. Вспоминая об этом в «Окаянных Днях», кстати сказать впервые опубликованных в «Возрождении», Бунин — всегда правдивый и верный свидетель жизненных событий — приводит свой ответ деревенским бабам, расточавшим лицемерные жалобы на войну и трудные обстоятельства: «Эх, бабы, как не грех и не стыдно! Кто же это из вас умирает? Сроду никогда не жили так сыто. Сколько теперь денег на каждом дворе! Курицы на всей деревне не купишь ни за какие деньги, — все сами едите. А уж про ваш двор и говорить нечего. Ну-ка, скажите, сколько у вас скотины?»

Да, в последнее десятилетие перед проклятым февралем Россия невиданно богатела и уж конечно не без прямого содействия правительства. Благодаря разумным распоряжениям высших властей и замечательной, ни с чем по совершенству не сравнимой российской администрации, улучшались железнодорожные и речные сообщения, развивалась внутренняя и внешняя торговля, укреплялись финансы, идеально работали учреждения по переселению малоземельных крес-

тян, умножались средние учебные заведения по всем специальностям, улучшалось преподавание в сельских школах, открывались новые высшие учебные заведения, строились усовершенствованные городские и сельские больницы, и начавшаяся война, при всех ее тяготах и превратностях, сулила несомненную полную победу над врагом и еще никогда до того не испытанную, по величию, отечественную славу. И все же началась революция! И все же она не могла не начаться! Ибо не одним хлебом будет жив человек, и там, где нет идеи, водворяется лжеидея. *Революция должна была зародиться от потери имперской идеи, утраченной сначала верхами, а потом и всей центральной Россией, ее ведущим ядром.* Замечательно при этом, что все российские украинцы, приобщившиеся к имперской жизни позднее центра, и когда-то на него восстававшие, в первые годы лихолетия и гражданской войны оказались верны священному делу Петра. Опираясь не на одну, а решительно на все украинцы, организовалось и разрослось белое движение, начатое, как известно, горсточкой офицеров, верных имперской идее. Пишущий эти строки был одним из них, гордится этим и, не колеблясь, утверждает, что белая армия в недрах своих оставалась глубоко имперской, несмотря на прилипшие к ней или, точнее, сидевшие у нее в тылу и на шее многочисленные духовно чужеродные элементы, из которых самым вредным и разлагающим надо считать участников и сторонников февральских безобразий.

Российская монархия погибла от собственной безыдейности, от подмены вселенского православия бытовым исповедничеством, имперской идеи — славянофильскими народническими бреднями, от нелепой, из пальца высосанной веры в сусального и смиренного «мужичка вообще», оказавшегося в действительности, хотя бы в лице Распутина, совсем не сусальным и не смиренным.

Я, конечно, весьма далек от того, чтобы так или иначе оправдывать презренную, чудовищную по своей глупости клевету, возведенную в те годы на Государя и его Семью, светлыми личностями от революции. Нет, близость Распу-

тина ко дворцу, на мой взгляд, была полезным делом, поскольку удавалось этому крестьянину облегчать неизлечимую болезнь Наследника-Цесаревича. Но, к величайшему несчастью Распутин стал для Двора всероссийским символом победоносного народничества, воплощением славянофильских чаяний и чем-то вроде некрасовского дяди Власа, богомольного странничка, слащаво осеменяющего крестным знамением заведомо святую и праведную мужицкую Русь.

Гибельная тяга дворца к мужичку-богоносцу не ограничивалась благоволением к Распутину. Упоенные революционными сплетнями, россияне как-то совсем не заметили, что незадолго до февральского крушения успел таки, по высочайшему приглашению, побывать во дворце и удостоиться царских милостей любимец петербургских литературных снобов, загримированный под народного баяна, стихотворец Есенин. Этот скандалист и хулиган бил по кабакам и притонам зеркала и посуду и читал по сомнительным салонам свои стишки, посвященные все тому же русскому мужичку, которому от настойчивых поминаний, несомненно, икалось бы круглые сутки, будь его сусальный двойник, порожденный дружными усилиями Двора, крамолы и разбойников пера, хоть чуточку похож на него — действительного и живого.

Российскую Империю погубили выдумки, разрыв с реальностью, ряд роковых фальсификаций, подмена высшей идеи уничтожительной идейностью, идиллиями, идеализмом и идеальничаньем. Неизвестно, читал ли Государь и читало ли его окружение «Деревню» Бунина, жестокое, но правдивое свидетельство о ничем не прикрашенном мужике. «Деревня» вышла в свет до войны 1914 года, в разгаре всеобщего увлечения пряничным селянином, смотря по надобности — и богомольным и богохульным, и буколическим и практическим, и монархическим и социалистическим. Левые народнические журналы, по причинам именно социалистическим, встретили «Деревню» крайне недоброжелательно. Думается, что книга Бунина не имела бы успеха и у Государя, но на этот раз уже по причинам «богомольным». По крайней мере, царский товарищ министр Крыжановский, в своих воспоми-

ниях, напечатанных в свое время в «Возрождении», рассказывает нам, как он однажды увидел на столе у Государя книгу о русской деревне Родионова — произведение, хотя и не весьма художественное, но верное действительности. Государь заметил взгляд, мельком брошенный Крыжановским на книгу, и тотчас спросил товарища министра, читал ли он ее и нравится ли она ему. На утвердительный ответ Государь возмутился духом: он не хотел верить Родионову, ибо придуманный правыми народниками идиллический облик мужичка-богоносца навсегда запечатлелся в его воображении.

Личность Императора Николая II-го совсем не так проста, как старались ее изобразить, а, напротив того, сложна и во многом таинственна. Сознанием он вряд ли улавливал всю неприглядность окружавшей его жизни, но он предвидел сердцем роковые судьбы России и собственную трагическую участь. Царь чувствовал, что надвигается на нас нечто неотвратимое, фатальное, и он все глубже уходил в религию от повседневности, не обещавшей никакого просвета. Обманная греза о мужичке-богоносце, о праведном селянине, была его последней земной слабостью, жалкой и все же утешительной игрушкой, нужной подчас и взрослому. Но, может быть, и другое, совсем другое устремляло к простолыдину мечту обреченного Императора. Быть может, Государь, бесстрашно сменивший в решающий час царский венец на терновый, шел путями, указанными Достоевским, искал для себя и России спасения в религиозной, надсословной, по преимуществу простонародной элите, возникновение которой в крови и трагедии он духовно предчувствовал. Этот рыцарь России и чести, оклеветанный революционным отребьем, остался до конца верен своей мечте, своему видению, умом непостижимому, и лишь на время — если только прав Достоевский — от нас сокрытому. Но до решающей и все выясняющей поры мы теперь обречены на колебания, не ведая, кому же верить: Достоевскому с его чаянием конечного спасения России, добытого кровью и страданием, или Константину Леонтьеву — суровому, беспощадному наблюдателю, присудившему нас

за страшный грех революции к государственной и духовной гибели.

Левые сообщества, хорошо организованные и натасканные в подполье на клевету и сплетни, искусно распускали все новые и новые слухи о правительстве, Дворе и интимной жизни царской Семьи. Эти нелепые, но ядовитые измышления росли и множились и наконец к 1916 году, в самом разгаре войны, достигли своего: развратили и разложили правые круги, высшее и среднее дворянство и даже великокняжеское ближайшее окружение Императора. Здесь снова нельзя не вспомнить «Окаянных Дней», к которым я еще неоднократно буду возвращаться, как к честному, верному и умному свидетельству о русской революции. Эти горестные заметы о нашей гибели, впервые опубликованные в «Возрождении», органически с ним срослись, стали его неотъемлемым идеологическим достоянием, его живой, мучительной и трепетной сущностью. Говорить об «Окаянных Днях» Бунина, это значит излагать общественно-политические взгляды «Возрождения», его истинное отношение к начальным фазам русской революции. К «Возрождению» в целом следовало бы поставить эпитафию слова Бунина из «Окаянных Дней», сказанные о русской революции и о белом движении:

«Святейшее из званий, звание 'человек' опозорено, как никогда. Опозорен и русский человек, — и что бы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось 'ледяных походов'»?! (подчеркнуто мною. Г. М.).

А по поводу безобразных обвинений, возведенных на царскую семью и царских министров так называемым временным правительством Керенского и оказавшихся, после судебного расследования, произведенного этим самым «правительством», чистой клеветой и сущим вздором, Бунин писал в «Возрождении»:

«Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой

семьи, этого дома, — сколько откроется темного, греховного, несправедного, какую ужасную картину можно нарисовать, и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить, во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку.

Так врасплох, совершенно врасплох, был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись. А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинный мировой жупел. Что открыли? Изумительно: ровно ничего!».

И тем безнадежнее становится на душе, когда подумаешь, что первыми приступили к непосредственным революционным действиям, к революционному пролитию крови, совсем не левые, а правые люди, или по крайней мере, люди из так называемого правого лагеря, среди которых, в довершение нашего позора и несчастья, находился член императорской семьи, великий князь Дмитрий Павлович. Убийство Распутина, совершенное в разгаре европейской войны, невиданной по размерам, напряжению и трудностям, было первым ударом топора, заблаговременно занесенного над Россией палачами от революции.

Пишущий эти строки находился в эти дни на фронте, на передовых позициях в Галиции, и хорошо помнит, какое страшное впечатление произвела на армию эта бессудная, подлая, подпольная расправа. Престиж царской власти оказался сразу же безвозвратно подорван, и именно потому, что принимали участие в убийстве Распутина член императорской семьи, аристократ Юсупов и правый популярнейший депутат Государственной Думы. Армия в целом рассуждала, как всегда, прямолинейно, по-солдатски: «Если великий князь, аристократ и известный депутат — представитель крупного дворянства — пошли на убийство человека, принимаемого при Дворе самим Государем, то хорош же Двор, хороша же царская семья и хорош же вообще монархический строй». Таким образом, путь к насильственному захвату власти всякого рода профессиональными революционерами был расчищен и предуготовлен правыми. И этого вообще не следует забывать.

Опыт показал, что опрокинуть царскую власть ничего не стоило. Настоящих твердых и неустрашимых монархистов почти не нашлось ни при Дворе, ни среди бюрократии, ни среди высших военных чинов. Они не нашлись только потому, что имперская идея, скреплявшая русскую государственность, была безнадежно утрачена верхами. Восторжествовали, правда, всего лишь на час, как и следовало ожидать, наши старые почтенные знакомцы: либерал-практики (милюковы), либерал-истерики (керенские) и, с первых же дней очутившиеся на побегушках у своих собратьев по революционному ремеслу, но все же весьма довольные обстоятельствами, либерал-идеалисты (львовы, родзянки). Вкусный пирог государственной власти они захватили заранее потирая ручки и облизываясь. Конечно, не были забыты при этом ни честные гражданские речи, ни устремленные вдаль, преисполненные веры в светлое будущее, горящие юношеские взоры. Одно, пожалуй, было лишним на радостях: наглые ссылки на бескровность «святой и великой», — ведь переполненные телами убитых городовых мертвецкие безмолвно показывали обратное. Но что с того! Во имя социалистического будущего «вперед, родные, не считайте трупов!».

Да, позы, фразерство и ложь, — вторая бессознательная или, если угодно, подсознательная, натура наших либералов. Они, эти самые либералы, по словам Бунина в «Окаянных Днях», «так извратились в своей профессии быть друзьями народа, молодежи, и «всего светлого», что им самим казалось, что они вполне искренни». «...Я чуть не с отрочества, — продолжает Бунин, — жил с ними, был как будто вполне с ними, — и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали: — Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу!..

В самом деле: то, что называется «честный, красивый старик, очень белая большая борода, мягкая шляпа»... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти не сознаваемая, привычная жизнь выдуманнными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманнными.

Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти.

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа».

«...Наши дети, внуки, не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (т. е. вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»

«...Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задера эти лапти с полной беспечностью...»

Лежал себе, полеживал и уж, конечно, не думал о своих «освободителях». Одному из таких упорных поборников непрощенной народом, «народной свободы», в первые месяцы большевистского торжества все еще порочившему царский строй и уверявшему, что революция была неизбежна и, главное, нужна, Бунин ответил, воспроизводя полностью, сам того не ведая, никогда никем не услышанное пророчество Константина Леонтьева.

«Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, — пусть она неизбежна, прекрасна, все что угодно. Но не врите на народ — ему ваши ответственные министерства, замены Шегловитовых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к черту и временное правительство, и Учредительное собрание, и «все, за что гибли поколения лучших русских людей», как вы выражаетесь, и ваше «до победного конца».

А лет за сорок до революции Константин Леонтьев произнес пророческие слова: «Если бы народ понял, что теперь уже правит им не сам Государь, а какими-то неизвестными путями избранные и для него ничего не значущие депутаты, то скорее простолюдина всякой другой национальности русский рабочий человек дошел бы до мысли о том, что нет

больше никаких поводов повиноваться, а о депутатах он не только плакать бы не стал, но потребовал бы для себя как можно больше земли и вообще собственности и как можно меньше податей. За свободу же печати и парламентских прений он не станет драться».

Невозможно придумать ничего нелепее и одновременно лицемернее утверждения, что существует якобы внутренняя, качественная разница не только между нашим «февралем» и «октябрем», но и между русской и так называемую великою французскою революциями. Как будто бы эти различные фазы последовательно развивающегося преступления не составляют единого, в себе неделимого, злокачественного и злодуховного процесса, как будто бы все они не питались одинаково кровью ни в чем неповинных людей, не выросли из принципиально оправданного насилия, не жили паразитарно за счет чужих, похищенных и присвоенных ими моральных и материальных ценностей.

Наши «февраль» и «октябрь» — прямое продолжение и развитие кровавых и воровских традиций французской революции. Они, подобно ей, возникли из просветительного XVIII-го века, провозгласившего автономные от религии, «естественные» права человека. Такой «просвещенный» и в то же время «естественный» самоутвердившийся человек — сам себе господин и вседержитель вселенной.

Прямым и практическим следствием безбожных просветительских теорий была французская революция. Она, по прекрасному слову С. Франка, обнаружила человеческое существо в его слепом, злом, демоническом начале, отвергавшемся лживым и лицемерным просветительством, она была экспериментальным обличением неправды и поверхностности просветительского гуманизма.

Об этой же самой дьявольской сущности революции говорит Бунин в «Окаянных Днях».

Февраль 1917 года был не чем иным, как абстрактно-идеалистической первичной фазой единого и неделимого революционного зла, это Петруша Верховенский, в дни отрочества крестящий свою подушку по-странному, еще неизжи-

тому суеверию. Но Петруша подрастет, сбросит, как змея прошлогоднюю кожу, свой изжитый идеализм и окончательно утвердится во зле. Говоря иначе, из идеалистического Грановского получится практический Милюков, а из практического Милюкова вылупится цинично-прямолинейный кровавый Ленин. Ведь если поистине бесовская основа марксизма до сих пор все еще не породила в Западной Европе большевизма, то ведь только потому, — как верно замечает С. Франк, — что здесь на западе марксистские теории сочетались и смешались до поры до времени с сентиментально-демократическими учениями просветительского гуманизма. Такая помесь разжиревшего Тартюфа с завистливым бесом социализма сказалась здесь не в форме острой одержимости, как в России, а в виде длительного хронического недомогания. Западно-европейские страны, и в особенности Франция, должны за это благодарить Наполеона. Он, по собственному его выражению, своими контр-революционными действиями, «заложил закладку в книгу революции», предупредив, однако, что она рано или поздно, но неизбежно, выпадет. Что ж, всякому овощу свой час! И навсегда останутся верными слова этого минутного Царя Царей, но дивного Кондотьери:

«Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? То же честолюбие. И каким прекрасным предложением дурачить толпу была для нас для всех свобода!».

5.

Лишенный, веками созданной, органически возникшей патриархальной власти, одураченный керенскими и милюковыми, русский народ не только послал к черту в турки всех депутатов, Учредительное Собрание, и «до победного конца», но в безумии пробужденных в нем революционной пропагандой темных вождельцев, в жажде наживы, анархии и разрушения, ринулся в неведомую бездну, уготованную для него стараниями либералов. Они, эти либералы, за время своего восьмимесячного пребывания у власти, или вернее — у без-

властия, сами тонули, погибали в разливанном море порожденной ими всероссийской паталогической болтовни. «Но язык мой — враг мой», одним языком не проживешь. Брошенный на самого себя и потому ставший не на шутку вполне «суверенным», русский народ, в поисках спасения от правительственного и собственного языкоблудия, в поисках пресловутой «социальной справедливости и правды», набрел на радикальную «Правду» Горького.

По верному замечанию Владимира Соловьева, нет ничего опаснее лжи, содержащей в себе долю истины. Только такая ложь действительно соблазнительна. Марксизм — одно из многочисленных разветвлений варварского лже-мессианизма, одна из многих псевдо-религий, пытающихся заменить собою отвергнутую «передовым человечеством» Голгофу, — и есть не что иное, как хитроумный обман, заключающий в себе известную долю истины. Охотник до «правды», русский народ, стараниями Горьковской «Правды», приобщился к марксизму и узнал с достоверностью достоверно, что религия для людей опиум, что священнослужители далеко не всегда бывают преданы своему духовному призванию, что богатые обижают и эксплуатируют бедных. Словом, в перемену с ложью, народ лишний раз почерпнул для себя в марксистской пропаганде неопровержимые сведения о греховной природе человека вообще и о пороках высших сословий и состоятельных классов в частности. Отсюда до огульного, слепого принятия всех марксистских положений было рукой подать. Туманно-либеральные посулы и адвокатский многоречивый вздор не так привлекли толпу, как простые и ясные призывы к грабежу и насилию. Под волшебным воздействием марксистского лозунга «грабь награбленное», даровавшего долгожданное «право на бесчестье», снова для народа оказались правыми не Борис Годунов, а Самозванец, не Царь Алексей Михайлович, а Стенька Разин, не Екатерина Великая, а Пугачев и наконец не Колчак и Корнилов, а Ленин, Махно и атаман Григорьев.

Говоря о повторяемости истории, о роковом круговороте событий, Бунин очень кстати приводил в «Возрождении», в

своих «Окаянных Днях», выписки из истории Сергея Соловьева, Костомарова и Татищева.

Вот «Российская История» Татищева:

«Брат на брата, сынове против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведуще, яко Премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день възрыдает».

«А сколько дурачков, — говорит Бунин, — убеждено, что в российской истории произошел великий «сдвиг» к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому.

Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о 'русской истории' не имел».

А вот, — продолжает Бунин, — Сергей Соловьев:

«Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость. И вот они опять возникли в огромном размере... Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло,.. Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменем разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев...»

Сергею Соловьеву вторит Костомаров:

— «Народ пошел за Стенькой, обманываемый, разжигаемый, ничего не понимая толком,.. Были посулы, привады, а уж возле них всегда капкан... Шли «'прелестные» письма» Стеньки — 'иду на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство'»...

Дозволен был полный грабеж... Стенька, его присные, его воинство были пьяны от вина и крови... возненавидели законы, общество, религию... дышали мстостью и завистью... Составились из беглых воров, лентяев... Всей этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю. а на деле забрал в кабалу, в полное рабство, малейшее послушание на-

казывалось смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним»...

«Не верится, — добавляет Бунин к словам Костомарова, — чтобы ленины не знали и не учитывали всего этого».

Бунин бесспорно прав, — отлично знали ленины историю русских бунтов и мятежей, прекрасно учитывая все разбойное, бунтарское в русском характере и этим скрепляли, на этом строили с помощью сталиных свое царствование.

...«Всякий русский бунт, — говорит Бунин, — (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколько она жаждет прежде всего *бесформенности*. С покон веку были 'разбойнички' — муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, — классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамоллой, сварой, кровавой неурядицей и нелепицей!».

Все это очень верно. Но в одном ошибался Бунин и, вслед за ним, в первые годы своего существования, ошибалось и «Возрождение».

Между всеми историческими русскими бунтами, вместе взятыми, и русской революцией 1917 года есть величайшая и во веки веков неистребимая разница. Все наши исторические мятежи и смуты были одинаково явлением душевно-биологического порядка, они начинались и развивались всегда оголтело, безыдейно, самотеком. При этом, религиозная идея православия и государственная идея великокняжения и самодержавия, созидавшие Русь и Россию, никогда не померкали ни в творческом центре страны, ни в душах отдельных русских людей, проживавших по украинам. Религиозно-государственная основа была так тогда жива и сильна, что предводители наших крупных бунтов, неизменно возникавших на периферии, вынуждены были в расчете хотя бы на временный успех, принимать на себя царское звание и опираться по крайней мере на какого-нибудь попа-расстригу. Без воровских ссылок на камилавку и шапку Мономаха рус-

ский бунт не мог бы состояться. Наши исторические смуты возникали не под влиянием лже-идеи, вбиваемой проходимцами в народные головы, а как раз от отсутствия какого бы то ни было замысла и даже простого соображения. В некоторой, весьма ограниченной, степени составлял исключение один Стенька Разин: в его разбойной башке бродили какие-то жалкие обрывки социалистических и следовательно по-настоящему революционных домислов. Но говоря вообще, все русские бунты, мятежи и смуты, периодически усмиряемые правительством при помощи топора и дыбы, являли собою не что иное, как безоглядное буйство очень молодого народа, еще не приобщенного к миру светлых или темных идей.

Придерживаясь определений Баратынского, надо сказать, что наши исторические бунты были «безумием забав», животным разгулом страстей, но не «пиром злоумышления». Словом, нет ничего общего, кроме кровавой видимости, между бунтом душевно биологическим, возникающим самоотечком, и бунтом идейным, сознательно организованным и потому злодуховным.

Этого не учитывал Бунин.

Исходной точкой революции в целом послужило основное положение просветительского гуманизма XVIII-го века: «Человек автономен от Бога, он сам себе господин и устроитель собственной и мировой судьбы».

Но если в первичной, французской, фазе своего развития революция еще опиралась на убогую веру в моральное достоинство человека, как такового, взятого изолированно, вне его связи с Богом, то ведь за долгий период, отделивший французский революционный опыт от опыта русского, организованный бунт, загнанный на время Наполеоном в подполье, успел идеологически окончательно созреть и опереться. Начальная наивно-«буржуазная» вера в положительные нравственные качества «царя природы», взятого самого по себе, оказалась решительно отброшенной при дальнейшем безостановочном росте идей просветительского гуманизма. Уже в сороковых годах прошлого столетия просветительский

гуманизм перерождается в марксизме в гуманизм натуралистический и тем самым, по глубокому замечанию С. Франка, превращается в гуманизм *сатанинский* и бесповоротно самоистребляется. Такой кризис просветительских идей, по совершенно верному утверждению С. Франка, был отмечен у нас впервые Гоголем. Автор «Мертвых Душ» «своим художественным взором увидел у человека звериную морду, а своей религиозной мыслью — теоретически довольно беспомощной — ясно сознал одно: — человечество охвачено демоническими, дьявольскими силами и несется к какой-то ужасной катастрофе».

«У Маркса, — говорит С. Франк, — дело идет не просто об оправдании земной плотской природы человека; сущность экономического материализма и учения о классовой борьбе заключается в том, что именно силы зла — корысть, злоба, зависть — суть единственные подлинные двигатели человеческого прогресса. Все возвышенное, духовное, благородное в человеке. *принципиально* отвергается: лишь предавшись *сатанинским* силам, человек может осуществить свою цель на земле. Здесь образ человека *окончательно* меркнет; и не случайно, что именно в этой же связи вера в человеческую личность сменяется верой в безличное чудовище «коллектива», «пролетариата».

Таким образом, перед подлинным, апокалиптическим ликом революции наш доморощенный «февраль», с его устаревшей верой в самодовлеющего «царя природы», был только провинциальным азиатским пережитком, запоздалым отзвуком, изжитого скептическим западом, просветительного гуманизма, ставшего давно для европейцев практически все еще необходимой, но вполне лицемерной идейной проформой. Закладка, заложенная Наполеоном в книгу революции, выпала, а заодно повалились и неосторожно с нею поигравшие смехотворные февральские лицедеи. Затверженные либералами революционные зады нашей революции негодились: она легко превратилась на русской почве в сознательно организованное, безбожными сердцами оправданное, марксизмом хитроумно систематизированное бесовское зло. И это зло,

именно в силу своей демоничности, совсем иного качества, иного состава, чем наши мятежи и смуты, чем наше греховное, но всего лишь душевно-биологическое буйство. «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный» оседлала дьявольская система, воспользовалась им, но осталась по отношению к нему вполне инородным инфернальным явлением.

Революция, впервые в мире проявившая себя во Франции, осуществила в русской фразе своего развития нечто безмерно страшное, *доселе небывалое, поистине совершенно новое*. К пониманию этой истины вплотную подходил Бунин в «Окаянных Днях», но все же завершающего слова не сказал.

Во всяком случае, Бунин чувствовал, что революция есть некая тайная злая сила, стремящаяся осмыслить по-своему бессмысленный народный бунт и направить его к неведомой и страшной цели.

Вот, что говорит он по этому поводу в «Окаянных Днях»: «Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское несомненно есть».

«Все надевали лавровые венки на вшивые головы, — продолжает Бунин, приводя выражение Достоевского. И тысячу раз прав был Герцен:

— «Мы глубоко распались с существующим...»

Впрочем, многим было (и есть) просто невыгодно не распадаться с существующим. И «молодежь», и «вшивые головы» нужны были как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и «шаток». Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончавшаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать, побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главарями, наиболее умными и хитрыми, *виолне сознательно* приготовлена была издевательская вывеска: «Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм». И вывеска эта еще долго будет висеть — пока совсем крепко не усядутся они на шею

народу... «Ведь что же было, — говорит Достоевский, — была самая невинная либеральная болтовня... Нас пленял не социализм, а чувствительная сторона социализма.....» Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направлял свои стопы, и *некоторые, весьма удобные, свойства русского народа*». (Подчеркнуто мною. Г. М.).

Да, поистине остается только поражаться наивной самолюбленности и одновременно наглости наших либералов, продолжающих и здесь, за границей в эмиграции, «высоко нести знамя настоящей, идейной, великой и бескровной февральской революции».

Ведь эти либералы и теперь еще вполне убеждены в том, что именно они спасут Россию. Изумительно!

«На редкость твердо, — писал в 1926 году в «Возрождении» Бунин, — уверены все эти Пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться, хотя бы от одного стыда за все то, что они явили, на диво всему миру, за свое шестимесячное царствование в 17-м году».

Здесь необходимо заметить, что Бунин, во-первых, забыл глубоко русскую поговорку из цикла наимудрейших: «Стыд не дым — глаза не ест» и, во-вторых, ошибся: не шесть, а без малого восемь месяцев процарствовали в России наши благодетели. Зачем же отнимать у людей, и без того обойденных судьбою, почти два месяца ликований, самоупоений и излюбленного празднословия. Ведь все без исключения революционные деятели любят, захватив «бразды правления», как они выражаются, по крайней мере на первых порах, позабавиться, поболтать, покуражиться, ибо, как справедливо замечает Бунин: «одна из самых отличительных черт революции, — бешеная жажда игры, позы, балаган. В человеке просыпается обезьяна».

А это и значит, что на путях революции человек утрачивает собственную личность, духовно регрессирует, превращается в животное, в о-безь-я-ну, становится существом без «я».

Но здесь мы наблюдаем всего лишь первую, если угодно, «февральскую» стадию революционного регресса, когда личность, начало духовное, образ Божий в человеке подменяется началом исключительно душевным, характером, индивидуальностью, имеющимися и у животного. Во второй же «октябрьской», стадии революционного вырождения, человек теряет и характер, лишается индивидуальности и обращается в насекомое, в подобие механизированного муравья, работающего по своей специальности в общей куче, на общее злое дело. При таком окончательном распаде и уничтожении личности, просветительский гуманизм, принятый к руководству нашим «февралем», оборачивается гуманизмом натуралистическим, по определению С. Франка — сатанинским, и обнаруживая тем самым свою духовную несостоятельность, погружается в небытие, превращается по слову Достоевского, в гу-гу.

ДОСТОЕВСКИЙ И ВСЕРОССИЙСКАЯ КАТАСТРОФА

1.

Трудно представить себе что-либо парадоксальнее публицистических статей Достоевского. Они по всей видимости вопиюще противоречат не только «Бесам», но и всему его художественному творчеству, Глухое клокотанье приближающейся катастрофы Достоевский различал не менее явственно, чем Константин Леонтьев, и уже к началу семидесятых годов поспешил, в лице Шатова, творчески разделяться со славянофильскими соблазнами: с русским мужичком-богоносцем и с сильно подгулявшим «русским Богом, едва устоявшим перед крестьянской реформой». Но творческая интуиция Достоевского часто расходилась с его пристрастной и подчас мелочной публицистикой «Дневника писателя». Пропасть, отделявшая Достоевского-творца с его «священной жертвой» от повседневного Достоевского, погруженного «в заботы суетного света», была на много глубже пушкинской. Достоевскому, «дабы он не превозносился чрезвычайностью откровений», дано было жало, ангел сатаны, не только в плоть, как апостолу Павлу, но и в дух, чтобы он никогда не забывал о своем глубочайшем падении и провиденциальном спасении от полной и окончательной гибели. Своего тяжчайшего духовного заболевания, называемого революционностью, он никогда не мог до конца изжить и достичь сердцем совершенного христианского просветления. Недаром оптинские старцы принимали его религиозное рвение с некоторой оговоркой. Они не считали его поздней церковности и веры в соборное начало свободными от чуждых истинному православию гуманитарно-общественных налетов. Творчески, но не житейски, преодоленное Достоевским «славянофильство» сопровождало его, как человека, до самого гроба. Оно было карой за революционное падение, данным ему жалом, бла-

годаря которому он оставался духовно хром, как Иаков. Его «славянофильство», как скверная болезненная отрыжка, постоянно напоминало ему, пережитое им в молодые годы, революционное народничество. Только в творчестве, отдаваясь интуиции, избавлялся Достоевский на время от жала, пронзившего его.

Однако публицистика Достоевского, хотя внешне и носила на себе славянофильский налет, вводивший многих в заблуждение и тем опасный и вредный, но по внутреннему содержанию была очень далека от настоящего народничества, прежде всего потому, что исходил Достоевский в существование от знаменитого положения Гераклита: «все течет!» и от благословенного утверждения Оригена: «материя есть уплотненная грехом духовность». Он наперекор правым и левым народникам принимал за подлинную реальность не быт — косное подобие жизни, — а самое бытие, и не опутанную бытом, покорившуюся или протестующую индивидуальность, социальную особь с ее призрачными революцией добытыми правами, а живую личность, смирившуюся или бунтующую, но неизменно преданную свободному бытию. Пережив в себе злую сущность революции, Достоевский в своем глубочайшем, ибо революционном, падении испытал предел духовного рабства, и, провиденциально спасенный от гибели для особой, единственной миссии, познал первородную свободу, дарованную человеку при сотворении. Эта действительная, реальная свобода, по утверждению Константина Леонтьева, к прискорбию не сознававшего своей близости к Достоевскому, возможна и в цепях. Поздняя публицистика Достоевского под банальным славянофильским налетом, под шаткой, неточной терминологией, скрывала огненную веру в сверхъестественное предназначение России. Не в пример Пушкину, под народом Достоевский разумел не бесчисленную и бессмысленную чернь, всегда готовую к революционному погрому, а некую религиозную элиту, неизвестными путями образовавшуюся Церковь, состоящую преимущественно из простолюдинов, из униженных и оскорбленных. Он личным каторжным опытом убедился, что корни

христианства, пронизав простонародную российскую толщу, навеки укрепились в неисследимой глубине человеческого духа, *по праву* свободной от всех сословных подразделений. Достоевский знал, что близятся неслыханные испытания, что надвигается еще невиданная беда, которая скосит и сравняет ровень с поруганной матерью-землею все любовно возвращенное веками. Но он знал также, что корни, ушедшие в недосягаемую глубину, рано или поздно дадут новые побег. Он верил в душевные тайники человеческой личности, животворимые неиссякаемым «чудом свободы». Эти ли знание и веру назовем мы народничеством? Только крайне неразборчивое, небрезгливое отношение к слову, характерное для второй половины русского девятнадцатого века, позволило нацепить на Достоевского этот серый безличный ярлык.

«Славянофильство» Достоевского было наложенной на него карой, его пореволюционной немощью, и в то же время одним из величайших недоразумений путанного прошлого столетия. Нельзя забывать, что именно к концу семидесятых годов, в разгаре славянофильской полемики, созрел у автора «Братьев Карамазовых» окончательный план написать повесть о великом злодее, о вчерашнем церковном послушнике, убивающем своего императора. Ведь не из благодушных и близоруких помыслов правоверного славянофила возникло у Достоевского такое намерение!

Во всяком случае, неосуществленной повести о послушнике-цареубийце суждено было стать последним, но быстрее всех сбывшемся, пророчеством Достоевского. После произнесенной на пушкинских торжествах знаменитой речи, по существу гениальной, хотя к Пушкину прямого отношения не имевшей, Достоевский умер в январе 1881 года, а в марте того же года убили царя. Его убили народники, особого рода послушники навыворот, революционные отшельники, подпольные русские бесы.

Это сбывшееся пророчество Достоевского в совершенстве уясняет нам, почему так настойчиво, с такою напряженной зоркостью, склонялся он, вслед за Пушкиным, над пробле-

мой отцеубийства и революции-восстания на отцовство во всех его прообразах и ликах, земных и небесных.

Проблема бунта, ведущего к подмене подлинной свободы личным или коллективным своеволием, тревожила Пушкина задолго до Достоевского. Вопреки невежественным измышлениям прогрессивных интеллигентов, французская революция притягивала к себе еще очень юного поэта совсем не сочувственно-политически, а религиозно-эстетически. Вслед за французской революцией, его волнует греческое восстание, декабрьский заговор и мятеж, русское смутное время и пугачевский бунт. Он пишет «Бориса Годунова», «Капитанскую Дочку» и монографию о пугачевских злодеяниях. Мистическая загадка своеволия и духовного бунта — вот что упорно привлекало творческое внимание Пушкина. Борис Годунов, Лжедмитрий, Марина Мнишек, Василий Шуйский, Мазепа и даже Швабрин и Пугачев — вот ряд своевольно утверждающихся исторических персонажей поэта. За ними следуют символы, осуществленные исключительно силою творческого воображения: герой «Цыган» Алеко, Онегин, Дубровский, Герман, Евгений из «Медного Всадника», скупой рыцарь и его сын Альбер, Сальери и наконец, Джон-Жуан — главный центральный у Пушкина образ чистейшего человеческого своеволия, восстания на законы, установленные Отцом Небесным и утвержденные отцами земными.

Бунтом одержимый человек не только подменяет, по Пушкину, истинную свободу своеволием, не только разрушает, восставая на Бога, вековые дела своих отцов, но он самозванно присваивает себе все прерогативы и божественный ореол отцовства. Такой подход Пушкина к мистической сущности бунта и своеволия, уже, как бы сам собою, ставит во всем объеме вопрос о самозванстве, предвосхищая одно из главнейших положений Достоевского: «Если нет Бога, то я бог». Духовный бунт, по Пушкину, ведет человека к самообожествлению, распаляет в нем похоть власти и желание насильственно принудить других признать его за божество, за единственного и незаменимого Отца.

То, что недоступно наяву обычному среднему сознанию,

раскрывается подчас человеку во сне, в символах и образах. Всем, конечно, памятен бездонный, неисчерпаемый по своему пророческому смыслу сон, приснившийся молодому Гриневу, скромному герою «Капитанской Дочки». Каждая фраза, каждое слово в описании этого сна преисполнены у Пушкина безмерного значения. Но мы отметим сейчас лишь одну нужную нам ситуацию. Снится Гриневу: он подходит к постели своего умирающего отца, чтобы получить от него прощальное родительское благословение и поцеловать его руку. Но на постели лежит не отец, а бородатый здоровый мужик и весело поглядывает на Гринева. Целовать его руку Гринев отказывается. Мужик вскакивает с постели, размахивая топором, и комната наполняется мертвыми телами.

Если принять во внимание, что мужик с топором и есть Пугачев, — самозванный царь-отец, руку которого впоследствии, уже при действительной встрече с ним, Гринев не поцелует, то мысли Пушкина о своеволии и бунте и вытекающем из них самозванном отцовстве станут нам особенно ясны. Прежде чем стать самозванным отцом, надо покончить с Богом, и с Отечеством, надо сделаться отцеубийцей в глубочайшем и многообразном значении этого слова.

Достоевскому оставалось только после Пушкина, развивать до конца скорбную мысль о революции, о человеке, поправшем подлинную первородную свободу, предавшем свое Отечество и надругавшемся над собственной Родиной во имя чистейшего произвола.

2.

К семидесятым годам прошлого столетия идеологические пути и перепутья, ведущие Россию к революции, были закончены. Можно только удивляться великому размаху Империи, просуществовавшей по инерции еще целых пятьдесят лет.

И это бесспорно верно. Ведь уже в конце сороковых годов, за двадцать с лишним лет до рокового срока, предстал перед судом молодой Достоевский за участие в подпольном

политическом сообществе, во главе которого стоял Петрашевский.

Весьма туманная идеология декабристов, проявивших себя до того еще за двадцать с лишним лет, кажется детской наивной и невинной по сравнению с идейно-революционным опытом Петрашевского и его единомышленников. Достаточно познакомиться с воспоминаниями Ап. Майкова, близко знавшего молодого Достоевского, чтобы тотчас понять, как далеко успели уйти петрашевцы по пути революции от розовых барственно-романтических мечтаний декабристов. Эти мечты и грезы были именно розовыми, а отнюдь не красными, и ярый проповедник безбожия, фанатик бунта ради бунта — Пестель ничуть не типичен для декабристского движения в целом. Он бледный призрак поистине бесовской одержимости бунтом, столь характерной и для умственно ограниченного Петрашевского, и для юного, но все же гениального, Достоевского. По утверждению Майкова, сто тысяч голов — никак не менее — требовал тогда будущий автор «Бесов» во имя водворения на земле социальной справедливости!

В те дни еще не было слова для точного определения такого рода одержимости. Теперь мы назвали бы ее большевизмом, а человека ей подверженного — большевиком.

Однако, разница между людьми, подобными Петрашевскому и Достоевскому, необъятно велика. Петрашевские принимают большевизм, как результат собственной безбожной гордыни, как окончательный вывод из нее, а Достоевский переживал и изживал свой большевизм провиденциально, он был им временно сражен в порядке Божьего пощужения.

Жизнь и судьба Достоевского являют собою подлинное чудо, казалось бы, совершенно невозможного в действительности и даже просто немислимого духовного преображения. По крайней мере сам он, столь христиански щедрый в своем творчестве, показал нам на примере своего персонажа, истого социалиста и мошенника Петра Верховенского, что не может быть спасения тому, кто вполне сознательно и последовательно не только возводит зло в систему, но и оправдывает его перед собственной, грехом умерщвленной, совестью.

Глубоко погрязшие в грехе, но зла не оправдавшие, герои Достоевского для вечности не погибают, они еще здесь, в земной жизни, сами над собой произносят смертный приговор, как Свидригайлов и Ставрогин, или, не выдержав тяжести зла, до того свободно ими избранного, лишаются разума, как Иван Карамазов, искупая тем самым, хотя бы частично, свои падения и заблуждения. Один только Петр Верховенский, революционер по призванию и, следовательно, убийца по убеждению, не испытывает ни малейших угрызений совести. Он безнаказанным ускользает за границу и остается в этом мире непокаренным, ибо окончательно утвердившись во зле, выпадает из жизненного процесса, становится евангельской соломой, обреченной на уничтожение в вечности.

Говорить о русской революции, о всероссийской катастрофе, пытаясь постичь ее антирелигиозную сущность, значит говорить о Достоевском, или по крайней мере исходить из его постижений и прозрений. Он пережил революцию в самом себе, как некое злодуховное данное, за много лет до ее исторического осуществления, ныне все еще далеко незаконченного. Он духовно прошел, испытал все ее фазы и, безмерно опередив наш сегодняшний опыт, подошел к самому краю нами неизведанной пропасти, подошел и остановился, удержанный над пропастью Вышнею Волею.

Тут познал Достоевский на себе библейские слова, грозный смысл которых он впоследствии неоднократно раскрывал нам в своих творениях: «Страшно впасть в руки Бога Живого».

И вот началось для него неправдоподобное нагромождение сокрушительных и фантастических событий: внезапный арест, заключение в крепости, стояние у столба с завязанными глазами в ожидании расстрела, неожиданная отмена смертной казни, ссылка на каторгу, солдатчина в Сибири, первая женитьба, преисполненная мучительных потрясений, чудесное возвращение в Петербург, снова литературный успех, на этот раз заслуженный, бегство за границу от долгов, возвращение на родину, писательская слава, неслыханный

триумф публичного выступления на пушкинских торжествах и безвременная смерть с недосказанными, быть может, самыми важными для России и мира словами на застывших устах.

По замечательной мысли Вячеслава Иванова, страшное стояние у смертного столба породило в Достоевском нового духовного человека, а пеленами для новорожденного послужила каторга. В бессонные блошинные ночи, среди каторжных кошмаров, тяжелых дум и дрем, рос и созревал этот новый творческий человек. Что по возмужании своем мог он поведать нам?

С будущим автором «Бесов» произошло то, что ранее случилось с Пушкиным: шестикрылый серафим, ниспосланный с неба, коснулся и его, и Достоевский мог бы сказать о себе словами поэта:

И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
.
И Бога глас ко мне воззвал:
Встань, пророк, и виждь и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Но несть пророка в своем отечестве и чужой опыт никому не указка. И никогда еще никто не посчитался с предсказанием, не вкусив предварительно от запретного плода. Трагический парадокс любого пророчества в том и заключается, что предугадывая мировые потрясения иногда за столетия, оно становится внятным для нас лишь после того, как сбывается. Тогда вспоминаем мы о пророчестве, и оно помогает нам прояснить до конца внутренний смысл осуществившегося крушения.

«Меня зовут психологом. Неправда! Я писатель высших реальностей», — заносит Достоевский в свою записную книжку. Иначе говоря, он в совершенстве сознавал великую разницу между душой и духом, душевным и духовным или, следуя слову Апостола Павла, между Психеей и Пневмой, психическим и пневматологическим. Только люди позитивного 19-го века могли назвать Достоевского психологом. И это в то самое время, когда так уничтожающе высмеивал он в «Преступлении и Наказании», и особенно в «Братьях Карамазовых», в лице Митиных адвоката и прокурора, всякую психологию вообще, не щадя мимоходом, в лице Зосимова, врачующего Раскольникова, наивных попыток психиатрии свести тайну бунтующего человеческого духа к упрощенной форме душевного заболевания.

Для Достоевского психологию опрокидывает живая психика. Душа человека для него стихийна, иррациональна, она неисследима сама по себе, ее глубочайшие корни прорастают в нездешние миры. Там, в этих духовных мирах, в высших реальностях, надо искать объяснений тех или иных душевных проявлений. Душа человека находится в непрестанном общении с духами света и тьмы, с Богом и дьяволом, она в трепете и движении, она ежесекундно колеблется в выборе и потому ее устремления неожиданны, взрывчаты и в плане чисто психическом необъяснимы.

Пребывая в границах предмета, можно его переживать, но нельзя объяснять. Объяснение требует отхода, суждения о предмете со стороны. Душа корнями своими одновременно погружена в духовное и телесное. Исходить к ней от тела, от физиологии, значит обращать ее живую, трепетную сущность в нечто мертвенное, механическое, клеветать на нее, или, во всяком случае, не достигая до ее религиозной сердцевины, грубо ошибаться в своих выводах и заключениях. Так ошибались все писатели и художники душевно-телесного склада. Они неизменно были плохими психологами. Но в том-то и дело, что хорошим психологом быть невозможно.

После перенесенных Достоевским небывалых испытаний, его творческая личность приобщилась «ума Христова», пре-

исполнилась дара разуметь духовное, и это в отличие от человека душевного, который, по слову Апостола Павла, «не принимает того, что от духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно».

Достоевский, конечно, не в качестве греховного существа, — а таковым он был и оставался до самой своей смерти, — но как творческая личность, заново рожденная в таинствах страдания, судил о человеческой душе духовно. Будучи не психологом, а пневматологом, он как бы смотрел на нее из познанного им мира духов света и тьмы, и она попеременно то озарялась для него невыразимым ангельским сиянием, то погружалась в крошечный мрак и вспыхивала бесовским пламенем. Достоевский знал и видел, что «душа человека — арена борьбы Бога и дьявола», и она предстала перед ним, как неотрывная часть, уже не только земного, но вселенского духовного процесса, и потому ее судьбы, как и судьбы любимой им России — пусть смутно, подобно всякому предвидению — раскрывались ему вне времени.

3.

Тютчев, бывший до глубины западно-европейским человеком, изменяя своему салонному славянофильству, признавался подчас в своем полном отчуждении от России и, однажды, в приливе творческой откровенности воскликнул в стихах:

Ах, и не в эту землю я сложил
Все, чем я жил и чем я дорожил!

Перефразируя Тютчева, можно сказать о Достоевском, что лишь в одну российскую землю он сложил все, чем жил и дорожил: все свои надежды, упования, чаяния, веру и любовь.

Он веровал в сверхъестественную христианскую миссию российской нации, верил, что именно в России свершится некогда Второе Пришествие, что по ее земле, заранее для

него благословенной, будет ходить Христос, и уже не символически и не в рабском виде, как сказано у Тютчева, и как ходил Он до сих пор, а наяву, в небесном сиянии и славе. И в минуты религиозного экстаза он призывал нас восторженно припадать к этой земле, целовать эту землю, для него чудодейственную и целительную. Она, через посредство юродивой, нищей духом хромоножки, говорит нам о своей тоске по долгожданному Жениху. Эта неизбывная тоска — явленный признак святости. Если вся в целом мать сыра-земля священна, ибо заключает в себе душу мира, Богом любимую, то российская земля удостоена святости, как предусмотренная к принятию Жениха, грядущего в ночи.

Святая Русь воистину свята! Раскольников, возжелавший заменить Вышний Суд, божественную справедливость, собственными произволом и расправой и тем косвенно, но все же пытавшийся оправдать зло, отпадает от солнца в безымянную мертвую глубь своего постылого одиночества. Но в неравном состязании с небом, в краткую минуту просветления, он страдальчески припадает к матери-земле, к русской земле, и этот мгновенный порыв через многие годы каторжных испытаний чудодейственно спасет и вернет его к соборной жизни.

Алеша Карамазов, образ которого до полного завершения Достоевским не доведен, должен был, по дальнейшему замыслу автора, отречься от своего еще незрелого, юношеского христианства, превратиться в великого грешника и в бунтующем своеволии превзойти старшего брата Ивана, внутренно, перед совестью, оправдавшего убийство собственного отца по крови и потому главного виновника свершившегося преступления. Алеша должен был до конца осуществить идею отцеубийства, которая, по твердому убеждению Достоевского, владеет сердцами всех людей вообще, и в особенности русских. Вчерашний послушник старца Зосимы предназначен был покуситься на высший на земле символ отцовства, сделаться убийцей Помазанника Божия, стать цареубийцей. И вот в душе русского человека, знакомого с таким замыслом Достоевского, могла бы померкнуть последняя на-

дежда, но как высший обет, как залог конечного спасения Алеши, а с ним и всероссийского спасения, звучит глава из «Братьев Карамазовых», в которой сегодняшний послушник и завтрашний великий злодей, в восторженном порыве веры и любви, всем существом своим припадает к матери-земле, к русской земле.

Русская земля свята, но русские люди не внимают ее голосу, как не внимал ему сам Достоевский до знаменательной катастрофы, его преобразившей. Русские образованные люди, по Достоевскому, давно утратили веру. Они не верят ни в собственное бессмертие, ни в живую душу родной земли, ни в Бога. Это о людях вообще, но о русских особенно, о русской слепоте и глухоте говорил Тютчев:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах.

Они отрицают все, кроме самих себя, и в безумии безбожного самоутверждения полагают, что бездушен лик породившей их земли. Пораженные духовной глухотой, они не слышат и поэта:

Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик,
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Но в этом, добавляет поэт, «не их вина». Для Тютчева люди рождены в духовном отношении глухонемыми и поэтому они не виновны.

Люди напрасно мнят себя существами, доподлинно создательными и, следовательно, ответственными, в действительности, их автономность от природы, их сознание и свобода — призрачны. Человек по Тютчеву, «мыслящий тростник», но в значении, неизмеримо более страшном и безнадежном, чем для Паскаля. По Тютчеву, человек безвоскресно иссохнет, как опавший древесный лист, бесследно истает, как льдина, плывущая весною по реке в океан. Бессмертна

лишь природа в целом, а человеческие существа, как и льдины, ее призрачные мгновенные порождения:

Все вместе, малые, большие,
Утратив прежний облик свой,
Все безразличны, как стихия,
Сольются с бездной роковой.

Однако между Тютчевым и русскими образованными людьми есть, употребляя слово Пушкина, «разность», и при том величайшая. Тютчев переживал свое неверие трагически, жаждал веры в личное бессмертие и отвращался от самодовольства окружавших его образованных атеистов. Временами же он готов был, ради самоутешения, великодушно приписать собственную скорбь по вере безбожному девятнадцатому веку и в такие минуты упрекал его лишь в нежелании открыто обратиться за помощью к Богу:

Не скажет век с молитвой и тоской,
Как ни скорбит пред запертою дверью:
Впусти меня, я верю, Боже мой,
Прийди на помощь моему неверью.

И все же основа мировосприятия Тютчева неизменно остается пантеистически-языческой. Природа у него — неустанная родительница непрерывно сменяющихся грез. В этом смысле в ней есть любовь, свобода и язык, но они проявляются лишь в общем блаженном потоке существования, а жизнь каких бы то ни было отдельных ее порождений, человека в том числе, мгновенна и призрачна.

После мертвых душ Гоголя и пронизанных демонизмом творений Лермонтова, глубоко русский, трагически безликий пантеизм Тютчева был грозным предвестником всероссийского религиозного и государственного крушения.

Творчество Гоголя, Лермонтова и Тютчева по разному отображало в слове тайную духовную болезнь, постигшую душу российской нации. Их творчество намечало конец краткого русского ренессанса, выраженного в слове Державиным, Батюшковым, Жуковским, Пушкиным и Баратынским.

В противовес своему духовному заболеванию, все еще живая глубина российской нации рождает Достоевского. Он был антиподом не только Гоголя и Лермонтова, но в некоторых отношениях и Тютчева.

Гоголевским мертвым душам, мертвым людям он противопоставил души падшие, преступные, бунтующие, но живые, — людей, сотворенных не по подобию неведомых чудищ, а по образу Божию, сохраняющих этот образ даже в нижайших своих падениях.

Демоническому презрению Лермонтова к человеку, властному стремлению этого поэта уйти от людского лика, хотя бы растворясь в космическом, «расчеловечиться», если можно так выразиться, наперекор вочеловечившемуся Христу, или предворяя Ницше, преодолеть в себе человеческое и стать сверхчеловеком, Достоевский противопоставил страшную гибель Ставрогина и самоубийственный конец «человека-бога» — Кириллова.

О сходстве Кириллова с поручиком Вуличем, героем лермонтовского «Фаталиста», Достоевский умолчал, зато о родстве загадочного принца Гарри с не менее загадочным потомком таинственного шотландского поэта и пророка он знаменательно обмолвился, заметив, что «злота в Ставрогине выходила больше, даже против Лермонтова».

Развивая в «Бесах» идею сверх-человека, или иначе человека-бога, Достоевский показал нам, как она неминуемо вульгаризируясь, из подпольного опыта отдельных людей прорастает в план социальный, вызывая при этом всеобщую ужасающую катастрофу.

Тютчевскому растворению, исчезновению человека в безднах природы, Достоевский противопоставил некие, всецело человеческие сферы бытия, расположенные, как бы над природой и по духовным своим возможностям — сверхприродные.

Для Достоевского, вопреки скорбной мысли Тютчева, человек не может сделаться безвозвратной жертвой природы, ибо он надприроден, пневматологичен, его душа глубочайшей своей сущностью обращена к мирам иным, и добро и зло

в нем происхождения беспримесно духовного. Именно в силу этого отношения Достоевского к природе совершенно иное, чем у Тютчева.

4.

Человек надприроден, но незримые нити соединяют его с душою земного мира, преимущественно с душою родимой земли, и родина, по Достоевскому, раскрывается человеку, как символ вечной женственности, как прообраз Матери Божией.

Женственная сущность родины настолько поглощала все творческое внимание Достоевского, что временами он как будто утрачивал непосредственную связь с мужественным началом отечества. Дело отцов, дело государственного созидания, в частности, мужественная мощь Императорской России, воспринимались им, как что-то едва ли не производное, как необходимою выкованная броня, охраняющая Святую Русь. Казалось, Достоевский забывал, что православие, освятившее древнюю Русь, было принесено извне и привито к русской грубо-языческой душе исключительно благочестивыми усилиями отцов.

Мистическая сторона отцовства постигалась Достоевским только через Помазанника Божия, через идею самодержавия, неотделимую для него от православия. Но, повторяем, что православие и самодержавие, как это ни парадоксально звучит, были для Достоевского чем-то как бы всегда на Руси существовавшим. По пламенной вере своей в мессианство русского народа, он из одной ревности старался забыть о Византии, и о том, что когда-то существовал другой мессианский народ, среди которого родился Христос. Достоевский хотел бы русифицировать даже самого Христа. Такую, на первый взгляд наивную, ревность ко Христу и к истории можно объяснить только эсхатологическим уклоном всего творчества Достоевского, пророческой устремленностью этого гения к концу всех концов.

По Достоевскому, истинный смысл всей истории человечества — борьба Бога и дьявола в душе ветхого Адама.

Предназначение России — стоять в конце всего исторического процесса, на нее свыше возложена миссия устремить человечество к окончательному религиозному решению и тем подвести все итоги. Но такое решение может оказаться положительным или отрицательным. В одном был убежден Достоевский: наша родина — страна апокалипсическая, страна Христа и Антихриста, и явление Того и другого одинаково возможно в России. Перед автором «Бесов» вставало двойственное видение, облеченное и в свет, и в тьму. Но тьма неизменно и угрожающе предшествовала свету. И тогда колебался Достоевский. Недаром сказал он однажды, что его осанна прошла через бездны сомнения и неверия. Тогда померкало для него сияние Святой Руси, ему слышались стоны и жалобы поруганной верховенскими родимой земли, и все шаталось, уходило, проваливалось в довременный мрак. Своим пронзительным умом он понимал, откуда, как и через кого придет всероссийское, всеевропейское и, наконец, всемирное неслыханное испытание.

Достоевский был реалистом во всех планах жизни и бытия. Можно сказать, пользуясь его же выражением, что он очень рано сумел в себе «огорошить Шиллера», преодолеть бледного мечтателя, абстрактного идеалиста. Вот почему ему был отвратителен — то слабонравно-женственный, то сентиментально-фальшивый русский либерал девятнадцатого века, к слову сказать, ничего общего не имеющий с нашим правительственным либерализмом времен Екатерины Великой, редкость зиждательным и плодоносным.

В русском либеральном барстве девятнадцатого века Достоевский различал два основных вида. Один изнеженный, мечтательный, искренно идеалистический, хотя и склонный к эффектным позам и излишнему красноречию. Этот вид вреден тунеядством, слепотою к жизни, неспособностью разбираться в неумолимой действительности и, главное, попустительством, порождающим непоправимое зло. От такого либерала-идеалиста, Степана Трофимовича Верховенского, — комической жизненной помеси Герцена с Грановским — родился его сын Петр, прототип законченного большевика. Но

поразительна по глубине оговорка, сделанная Достоевским: Петр Верховенский не то действительно сын своего либерального отца, не то он родился всего-навсего от жены Степана Трофимовича и какого-то, кстати подвернувшегося, приبلудного полячка. Словом, невозможно в точности определить, каким способом туманный идеализм порождает зло: непосредственно ли из себя, так сказать, закономерно и на брачном ложе, или же только преступным попустительством, презренным слабоволием и жалким слабосилием. Во всяком случае Достоевский ясно видел, что чистый идеализм во всех своих проявлениях, будь то в философии, литературе, науке, или в личной семейной и, наконец государственной жизни, неминуемо приводит ко злу.

Нельзя забывать, что ведь и Петр Верховенский, как многозначительно отмечает Достоевский, был в ранней юности мечтателен, идеалистичен и даже, по какому-то странному суевию, ежевечерне, отходя ко сну, крестил свою подушку.

Достоевский писал романы, а не философские трактаты, и как истый художник, воплощал свои идеи, но никогда не развивал их прямолинейно и абстрактно. Надо органически врасти в художественную ткань творений Достоевского, чтобы постичь существо его идей, ибо он не философ, а художник мышления, и его творчество представляет собою подлинное искусство мысли. Часто с виду незначительный намек, как бы случайно заброшенный им в складки повествования, освещает изнутри его сложнейший замысел. Так не один Петр Верховенский, но все решительно персонажи Достоевского, предающиеся злу по возмужании, проходят в раннем возрасте хотя бы через краткий период чистого идеализма. Это одинаково характерно не только для Раскольникова, Ставрогина и Ивана Карамазова, но и для Алеши Карамазова, юношеское, незрелое православие которого по существу идеалистично. Он был предназначен, по дальнейшему замыслу Достоевского, стать великим грешником, именно потому, что идеалистическое христианство усиленно располагает человека к одержимости. Истинное христианство,

как высшая реальность, несовместимо с призрачным идеализмом. Оно пребывает в жизни живой и от нее неотделимо. Идеалистическое христианство лицемерно подменяет любовь к ближнему несуществующей реально любовью к дальнему, от смирения переходит к бунту и от личного жертвенного подвига во имя живого человека к революционным действиям во имя абстрактного человечества. Так разоблачил Достоевский величайшее зло в том, что в течение полтора десятка лет принималось и еще принимается всеми за возвышенное благо.

Второй вид русского либерализма девятнадцатого века, выделенный Достоевским, как действительно злокачественный, не имеет сам по себе ничего общего с идеализмом. Он состоял из людей честолюбивых, рассудительных, делающих карьеру во всех областях общественной и государственной жизни. Иные из этих либералов-практиков, назовем их так в отличие от либералов-идеалистов, обладали изощренным чутьем и способностью трезво взвешивать события. Сообразуя свое поведение с модными идеалами, они умели из всего вывести дальновидные умозаключения.

Постоянный заграничный житель, редкий, хотя и желанный гость на родине, знаменитый писатель Кармазинов, был великолепным представителем барственного либерализма второго вида. Все то страшное, что осуществилось и осуществляется на наших глазах, и что за много лет предвидел Достоевский, но о чем по соображениям формально-художественным, не мог говорить от себя, он предоставил высказать циничному и злому языку Кармазинова. Выбор такого посредника, такого порт-пароль, был гениально глубок. Кому же, как не либералу-практику, ведать и чутьем и умом, о том, что возникнет в действительности в ближайшем и отдаленном будущем из попустительства и из ходких идей, ищущих своего воплощения. Либерал-практик знает также, с кем и о чем говорить и перед кем заранее заискивать: свои пророческие мысли Кармазинов высказывает Петру Верховенскому, как хозяину в скором будущем и России и Европы. Разговор происходит в тиши и уюте барского дома, за утренним завтраком. И подумать только, что все это писалось

Достоевским восемьдесят пять лет тому назад, в патриархальных условиях российской и европейской жизни. Но предоставим слово Кармазинову.

«В русском барстве есть нечто, чрезвычайно быстро изнашивающееся во всех отношениях. Но я хочу износиться, как можно позже и теперь перебираюсь за границу совсем; там и климат лучше, и строение каменное, и все крепче. На мой век Европы хватит, я думаю. Как вы думаете?

— Я почему знаю.

— Гм... гм... если там действительно рухнет Вавилон и падение его будет великое (в чем я с вами согласен, хотя и думаю, что на мой век его хватит), то у нас в России и рушиться нечему, сравнительно говоря. Упадут у нас не камни, а все расплывется в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпор чему-нибудь. Простой народ еще держится кое-как русским Богом; но русский Бог, по последним сведениям, весьма неблагонадежен и даже против крестьянской реформы едва устоял, по крайней мере, сильно покачнулся. А тут железные дороги, а тут вы... уж в русского-то Бога я совсем не верую.

— А в европейского?

— Я ни в какого не верю. Меня оклеветали перед русской молодежью. Я всегда сочувствовал каждому движению ее. Мне показывали эти здешние прокламации. На них смотрят с негодованием, потому что всех пугает форма, но все, однако, уверены в их могуществе, хотя бы и не сознавая того. Все давно падают и все давно знают, что не за что ухватиться. Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь, по преимуществу, то место в целом мире, где все, что угодно, может произойти без малейшего отпора. Я понимаю слишком хорошо, почему русские с сотоанием все хлынули за границу и с каждым годом все больше и больше. Тут инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь страна деревянная, нищая, и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется вся-

кому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим. Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь.

— Нет, вы вот начали о прокламациях; скажите все, как вы на них смотрите?

— Их все боятся, стало быть они могущественны. Они открыто изобличают обман и доказывают, что у нас не за что ухватиться и не на что опереться. Они говорят громко, когда все молчат. В них всего победительнее (несмотря на форму) это неслыханная до сих пор смелость засматривать прямо в лицо истине. Эта способность смотреть истине прямо в лицо принадлежит одному только русскому поколению. Нет, в Европе еще не так смелы; там царство каменное, там еще есть на чем опереться. Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда была бременем, во всю его историю. Открытым правом на бесчестье его скорей всего увлечь можно. Я поколения старого и, признаюсь, еще стою за честь, но ведь только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим, по малодушию; нужно же как-нибудь дожить век».

5.

Либерал-практик и либерал-идеалист, при всех существенных различиях, все же друг на друга похожи кое в чем немаловажном. Их сближает непреодолимая склонность к самовлюбленным позам и эффектным фразам. В этом отношении Кармазинов и Степан Трофимович Верховенский, при встрече в губернаторском салоне, оказываются стоящими на равной высоте, и кокетливые ссылки знаменитого писателя, новоявленного немца, на дорогие его сердцу судьбы водопро-

вода города Карлсруэ с успехом соперничают с афоризмами Паскаля, картинно двинутыми в бой передовым профессором. Идеалист и практик, оба, целых тридцать лет просто-яли «перед отчизной воплощенной укоризной». Благодаря такому почтенному положению, добровольно принятому в пространстве, либерал-практик удосужился познать свое отечество только с самой подлой и низкой стороны, а либерал-идеалист навсегда остался в полном неведении российской действительности. Циничное знание, равно как и полное неведение, понуждают идеалиста и практика старшиться России. Практик стремится с перепугу переселиться за границу совсем, а менее предприимчивому идеалисту, в его боязливом оцепенении все слышится непрошенная песенка: «Идут мужики, несут топоры, что-то страшное будет».

Однако, согласно Достоевскому, идеалист не исчерпывается одними позами и фразами, да заячьими страхами, пути к духовному спасению для него еще не все заказаны. Он способен, хотя бы перед смертью, отказаться от своего наигранного безбожия, стряхнуть с себя революционный прах и неожиданно обрести истинную веру. Изобличенный жизнью и собственной совестью в духовной несостоятельности, он может, подобно королю Лиру, решиться на уход. Внезапно объятый, как пушкинский странник, «скорбию великой», он может, предвзяв бегство Толстого от самого себя, миновать «городовое поле» и очутиться одному на большой дороге:

Дабы скорей узреть, оставя те места,
Спасенья узкий путь и тесные врата.

Дабы получить из рук престонародной книгоноши давно им забытое Евангелие и умереть христианином.

Вообще, в высшей степени знаменательна для нас эта тема ухода, пересаженная с чужбины в русскую литературу Пушкиным, от него перешедшая к Достоевскому, Гончарову, Тургеневу, затем, пусть в безмерно сниженном, пародийном виде, попавшая к Чехову и, наконец, доставшаяся Толстому, разыгравшему ее хоть и не совсем по-христиански, но, зато

бытийственно и на самом себе. Недаром и не случайно пытался Толстой художественно воссоздать сложенную на этот раз самими россиянами легенду об императоре Александре Первом, скрывшемся в жизненном лесу, ушедшим в странствование под именем Федора Кузьмича. Конечно, эта легенда притягивала к себе Толстого, прежде всего, потому, что уже назревала в нем тогда возможность собственного ухода, но он смутно чувствовал также ее громадное всероссийское значение.

У каждой легенды имеется всегда свое глубочайшее реальное основание. Легенда есть метафизическая быль. Уходил ли Император, или нет, мы не знаем и, вероятнее всего, никогда не узнаем этого. Но причина, по которой он мог бы уйти, существовала действительно. Названный Благословенным за свое мудрое, блистательное царствование, Александр Первый нес в душе незамолимый грех. Будучи Наследником престола, он, зная о готовившемся покушении на жизнь царя, своего отца по крови, не только не предотвратил ужасной развязки, но и принял корону из рук цареубийц, убийц своего родителя. Мучило ли раскаяние Александра Первого, толкнула ли его совесть на уход, нам неизвестно. Но легенда о Федоре Кузьмиче должна была неизбежно возникнуть. Сказанием о смиренном царственном страннике российская нация пыталась искупить вину своего Императора, силилась пережить и изжить за него и вместе с ним его черный, типично русский грех.

Сознательное и потому духовное зло — «пир злоумышления», по определению Баратынского, внешне, по-видимости, блистает разнообразием брашен, но каждый из нас, от них отведав, знает, что «вкус один во всех», что все это лжеразнообразие преступлений в итоге сводится к одному: к похищению чужих ценностей, к присвоению духовных прерогатив и прав и материальных благ, другим принадлежащих. Самое же похищение возникает, как следствие бунта, организованного в духе. Оно не только всегда связано с насилием, но подчас и с оправданием насилия, лицемерно основанным на необходимости своевольно восстановить, якобы,

нарушенную Богом и людьми справедливость. Из такого оправдания зла, возведенного в систему, вырастает революция. Она и есть окончательное следствие греха с его разнообразием кровавых брашен. Ее истоки демоничны. Стремясь основаться на автономной от неба разрушительной человеческой справедливости, она подменяет истинную веру в Бога религией навыворот и, порождая ложь, клевету и насилие, обнаруживает свою прямую связь с духом небытия.

Чтобы порвать круговую поруку духовного бунта, надо, как говорил Пушкин, «оставить те места» — покинуть человеческий быт во имя Богом нам данного бытия, надо в поисках «тесных врат» «перебежать городское поле» и, подобно внезапно сраженному совестью императору или хотя бы вчерашнему либералу-идеалисту, лишь слегка поигравшему в революцию, очутиться нищим странником на большой дороге.

Именно так понимали наши творческие люди, и в их числе Достоевский, тайный смысл ухода.

Теперь же, когда свободные странствования пешком по всем проезжим дорогам воспрещены законом, революционным произволом и жестокими обстоятельствами жизни, мы познали на себе иную милость Неба, даровавшего нам взамен уходов, во искупление духовного бунта, долголетнее изгнание с многодумным проживанием по закаулкам европейских городов, а на родине расстрелы, тюрьмы и ссылки. И вот, молясь и проклиная, под покровом непроглядного европейского мрака, по сибирским лагерям и норах, нам остается на выбор внимать или не внимать, верить или не верить словам поэта о лучшем и вековечном будущем ныне каторжной России, о будущем, быть может и возможном, но во всяком случае весьма отдаленном:

Россия тридцать лет живет в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и Соловках,
Россия та, что будет жить в веках.

(Георгий Иванов)

Константин Леонтьев верил не в почвенные, нутряные силы русского или какого-либо другого народа, для него просто не существовавшие, но в идею вселенского православия и имперского созидания, насаждаемую и внедряемую в русские сердца извне и сверху. Окончательно ли порвало наше отечество с этой создававшей его идеей? Неведомо! Но с безудержной разбойной наглостью, отрекшись от нее во имя серого бездарного февраля и кровавого октября, оно попало на невиданную и неслыханную каторгу. И в этом кроется для нас последняя, еще не совсем померкшая надежда. Ведь не все же с такой иступленной настойчивостью проповедывал Достоевский спасительное для нас значение заточения и ссылки! Свой личный каторжный опыт он с непонятным в те годы упорством стремился обобщить, возвести его в целительную всероссийскую необходимость. Под непосредственной угрозой расстрела, а потом в сибирской каторге и ссылке, исцелился Достоевский от своей революционной, глубоко русской одержимости. В предвидении России одержимой, плененной бесами революции, он призывал на нас переплавляющую души поголовную каторгу. Она пришла. Может быть, придет и спасение. Там, в тундрах и тайге, в звериных норах, в подземных казематах у Ледовитого океана, созревает ли новая, неизвестная, религиозная российская элита? На этот безрассудный безумный вопрос Достоевский ответил бы: — да!

ИНТЕРВЕНЦИЯ И ГИПНОЗ РЕВОЛЮЦИИ

По-видимому неизбывным и злым условием наших смутных лет надо считать полное и всестороннее смещение и искажение всякого рода определений и понятий, как в сфере политики, так и в области религии, искусства и гуманитарных наук. Исчезла из обихода точная терминология, во многом устаревшая, во многом лукаво и безграмотно подвергнутая уличной митингово-демогогической обработке. В подтверждение сказанного можно привести бесчисленное количество классических образчиков. Кто например решится по чести с истинно философской точностью указать, что следует почитать в искусстве реализмом и что романтизмом? А между тем эти давно переставшие в действительности существовать понятия продолжают фигурировать в любой стране и в любом учебнике по литературе и искусству. Над определением того, что такое государство, нация, шовинизм и национализм, демократия и демократичность, революция и контр-революция, реакция и прогресс, честно думающему грамотному человеку пришлось бы проработать годы, шаг за шагом разбирая и распутывая невообразимый беспорядок, учиненный в этом направлении газетной публицистикой и главным образом митинговыми ораторами — неустранимой язвой наших дней.

Уже давно ставшее приблизительным, честное мышление окончательно иссякло под влиянием, во всех государствах мира, пришедшей к власти улицы. Одновременно наглые и трусливые толпы своекорыстных проповедников и вождей заговорили о религиозных истинах, стали вертеть по-своему отвлеченными, чисто духовными понятиями. И вот теперь, когда по сбывшемуся слову поэта — «На земле уединенья нет» — «мыслительный разврат проникает в лучшие умы. Необходимо обобщить слова Чаадаева, утверждающие исключительно русскую неосновательность, и смело сказать, что

ныне, в самой лучшей западно-европейской голове, есть нечто более чем неосновательное, есть недостойный страх перед определением и правдивым наименованием вещей и явлений. Так отважный и мудрый в своих деяниях вождь современной Италии упорно продолжает называть революцией собственную победу над революцией, а заодно революционными проведенные им государственные реформы. Еще недавно в своей политической речи он наименовал «демократической» им установленную диктатуру. Демократическая диктатура! Каково сочетание? Видный французский публицист тщетно возражал Муссолини, что если называть демократической итальянскую диктатуру, то почему бы собственно не почитать таковой всякую государственную власть вообще. Ведь нет же и не было истинной государственной власти, которая существовала бы не ради народных нужд, а ради собственного удовольствия существовать. Прибавим от себя, что именно в силу этой причины нелепо считать государственной властью большевицко-международное засилье над Россией. По слову Апостола Павла, «начальник носит меч не напрасно». Однако, всем известно, что большевики носят меч совершенно напрасно, и следовательно, властью именоваться не могут.

Французский публицист вполне разумно напомнил Муссолини, что лишь различные формы народоправства принято было до сих пор считать демократическими и что нет причин учинять терминологическую путаницу.

Существуют две первичных идеи государственного властвования: — власти отеческой, вознесенной над народом, но понимаемой как служение народу, и власти, выдвигаемой по воле самого народа, на основе его самоизъявления и постоянного общественного контроля. Лишь вторая идея государственного властвования может почитаться демократической.

Стоит ли после рассказанного о Муссолини упоминать о наших эмигрантских потугах по части терминологии? Русская поговорка создавалась не даром: куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Лет десять тому назад мы обогатились

новым, поистине смехотворным термином — «национальной революции». Любопытнее всего, что вслед за младороссами, — юношами гибкими и весьма склонными к политической лжи и влиянию, — наткнулись на этот коварный гвоздик вполне благонамеренные люди из среды национально настроенной молодежи, и даже некоторые седовласые публицисты, — наткнулись и крепко повисли:

Являя взорам меньших братьий
Ряды комических распятий.

Все это можно объяснить лишь особым гипнозом революции. Еще задолго до кровавой эпопеи 1789 года, над извращением всех определений и понятий тщательно потрудились французские энциклопедисты. Уроки великого, вольнолюбивого убиения себе подобных во Франции были обожествлены всею Европой, и в особенности населением России. Настойчиво в течение ста лет, во всех средних и высших учебных заведениях исподволь, под сурдинку, проповедывалось у нас безбожие, внушалась ненависть к красоте в искусстве и поэзии, высмеивалась государственная власть, воспевалось глупейшее народничество, восхвалялся доморощенный утилитаризм Писарева и Чернышевского. И когда в конце семидесятых годов Боборыкин изобрел словечко — «интеллигент» для определения людей, начитавшихся социалистических брошюр и преданных священной революционной секте, то без малого все россияне с образовательным цензом чрезвычайно обрадовались и поспешили присвоить себе эту кличку. Явление в высшей степени характерное и важное: так ответило русское общество длительной подпольной пропаганде. Получилось нечто обратное библейскому сказанию. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». В анекдотическом случае боборыкинского «интеллигента» русский человек на-

звал не животных и птиц, а самого себя, и ставши самозванцем, тотчас же сросся по существу со своим новым позорным наименованием. С тех пор, несмотря на небывалое крушение, постигшее нас, мы втайне, бессознательно, продолжаем поклоняться все тому же идолу. Мы твердо усвоили разнузданный и гнусный революционный жаргон, а по отношению к настоящему человеческому языку страдаем неисцелимой словобоязнью. Истинное слово божественно, оно содержит в себе доподлинную сущность вещей, явлений и понятий. Извратить слово значит исказить свою душу, а искалечить собственную душу значит неминуемо извратить божественную правду, содержащуюся в слове. Вывод отсюда прост и ясен: провалившись в безну революционного небытия, мы устрашились не только слов, но и самих жизненных явлений и понятий, и ныне мы боимся настоящих противореволюционных действий, пугаемся благодетельной реакции, трепещем перед интервенцией и здоровое сочувствие иностранному вмешательству в нашу кровавую погибель, мы выдаем за измену родине. Такого рода шовинистический патриотизм лишь одно из бесчисленных следствий нашего крайнего духовного нездоровья. Столетнее подпольное обучение революционному хихиканью над Богом живым и миром Им созданным, довело нас до полного отрицания основного закона жизни, главного двигателя бытия. Мы забыли, что все в мире живет, дышит и движется всесторонней свыше благословенной правдой взаимовмешательства, взаимопроникновения.

Сусальный стиль «рюсс», будто бы навязанный нам западной Европой, мы охотно и давно усвоили себе сами. Во имя призрачных, народнически-славянофильских положений мы готовы во веки веков терпеть большевицкое засилие и навсегда пренебречь заветами Петра Великого, от которых, — правду необходимо сказать до конца, — остались лишь ножки да рожки. И все же в припадке развратного снобизма мы при случае выдаем себя за последователей величайшего из русских императоров. Отравленные революцией, ее лунатические рабы, мы полюбили декламацию, облеклись

в ораторскую тогу, нарядились в пестрые эстрадные лоскутья, и, что страшнее всего, переняли мимику, движения, ужимки и прыжки революционных «тарараторов». Поистине пророчески оправдались некогда несправедливые слова Чаадаева: «Великий царь бросил нам мантию просвещения, — мы подняли мантию и не коснулись просвещения». Теперь тяготеет над нами вторая часть зловещей чаадаевской программы: «Мы — великий пример того, как не надо жить, и когда дадим его миру, то неизбежно погибнем».

Залог нашего спасения прежде всего в отказе от революционной лже-терминологии, в перевоспитании себя, в тяжелой сознательной работе над отходом от революционных навыков, прочно засевших в нас на подобие лягушки в тине.

Дьявольская сущность революции раскрывается между прочим через демагогическую фразеологию, т. е., попросту говоря, через дух любоначала и празднословия. Вылушенные, лишенные внутреннего смысла, пустые слова гулко резонируют в несчастной, запуганной демагогией голове ни в чем неповинного человека. И ныне мы боимся самых основных понятий и слов, невольно искажая их верное значение: царь, помещик, реакция, контр-революция, интервенция кажутся нам какими то пугалами. — Помещик. — Ах бедный, великий смириением мужик! — Реакция. — Ах, отсталость! — Интервенция. — Ах, измена отечеству!

Революция и забвение собственного и чужого прошлого — синонимы! В годы, неизмеримо менее кровавые и менее смутные, чем наши, Петр Первый, возжелавший для России славы и мощи, не побоялся опереться на немецкую слободу. В те времена такой поступок всей Московией воспринимался, как измена родине: с немецкой слободой православному человеку общаться было преступлением. Петр, с помощью шведов, голландцев и швейцарцев, вырвал таки Россию из смут, суеверия, суесловия и бабьей ворожбы. Правда, за это благодарный народ прозвал его антихристом, что не помешало России благоденствовать двести лет. Можно сказать, что Петр, путем чужеродной, насильственно сделанной привив-

ки, преобразил зоологическую человечину в людей и россиян.

Немногим ранее, при царе Алексее Михайловиче, с низовьев Волги, в глубь русского государства, двинулся со своею шайкою Стенька Разин — воплощение нашей анархии. Безнаказанно, грабя, сжигая церкви и убивая, он докатился до Симбирска. Стрелецкие воеводы, далеко не изжившие недавней смуты, сдавались ему без боя, выходили с хлебом с солью навстречу разбойнику. В Симбирске стоял полк *иноземного строя* под командой князя Бярятинского, состоявший более чем наполовину из иностранцев. Достаточно было короткого удара чтобы Разин покатился обратно и без единой задержки добежал до Дона, где и был выдан домовитыми казаками московскому правительству. Пример таких *petites interventions* (малых вмешательств), разумно допущенных неокрепшей властью, можно было бы множить без конца, — ими изобилует история любой страны всего человечества.

Неизменный и единственный принцип зарождения всякой империи — предварительная глубокая интервенция. Английская империя обязана своим существованием Вильгельму Завоевателю, французская — римлянам, германская — Пруссии, российская — скандинавам, татарам, полякам и шведам поочередно.

Закон взаимного втекания, проникания друг другом, властно выдвигает сильного и заставляет слабого воспрянуть духом. В обмене духовных веществ, под напором крепчайшего здоровья, судьбы наций чередуются. «Сегодня ты, а завтра я», но не по изъявлению слепого рока, а по воле упорного стремления к достижению цели. Один из самых пагубных «гуманных» сюрпризов, выработанных в глухих подпольях позитивного 19 века, это принцип «самоопределения народностей», невмешательства в чужие дела. Мертвенная, коротенькая идея! Революция, как всякий вид беспримесного зла, вынуждена и тут паразитировать на бытии, устраивать подмену. Лукавые сторонники туземного застоя выдают себя за проповедников *покоя*, необходимого

для осуществления человеческого творчества. Однако, по мудрому выражению поэта — «жизнь для волнения дана, жизнь и волнение — одно».

Творческий покой есть следствие предварительного испытанного жизненного волнения, и он прямо противоположен гнилостному брожению застоя — движению вспять, ведущему к смерти.

Вмешательство якобы в чужие дела в действительности есть принцип глубоко христианской, соборной взаимопомощи. Существование биологическое и духовное зиждется на незыблемом законе вмешательства. Но об этом, за недостатком места, мы поговорим в следующем очерке.

ДЕДУШКА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

*Нам любимый старый дед
Прожил восемьдесят лет.*

1.

Для многочисленных русских евреев, по тем или иным причинам проживающих за границей, и для левых кругов русской эмиграции, к счастью малочисленных, наступил знаменательный, высоко-торжественный день: их любимому вождю и учителю, выразителю их лучших дум и чаяний, Павлу Николаевичу Милюкову, исполнилось восемьдесят лет. Возраст, что и говорить, весьма почтенный. И невольно, наперекор просвещенным заветам нашего прогрессивного юбиляра, вспоминаются мне древние библейские слова: «Дней наших — семьдесят лет, а при большой крепости — восемьдесят лет». Благосклонная судьба от рождения наделила Милюкова большой крепостью телесного здоровья и разносторонней, я бы сказал великолепной, самоуверенностью: Павел Николаевич и политик, и публицист, и даже историк российской культуры. К прискорбию, своенравная фортуна, даруя смертному какие-либо положительные качества, безжалостно лишает его других, не менее ценных благ. Так Паскаль, обладавший умом всеобъемлющим, и даром глубочайшего проникновения в сущность вещей и явлений, отличался крайне слабым здоровьем и чрезвычайно часто сомневался в себе. С такими капризами судьбы, увы, ничего не поделаешь. Очевидно проказница, наделяя и обделяя людей всевозможными свойствами, работает на самые различные вкусы. Недаром нам в поучение сложилось всем известное старинное при словье, что «спор о вкусах пустословье». Русско-европейским марксо-демократам, верующим в идею прогресса пуше, чем темный мужик верует в Господа Бога, естественно мил Милюков; нам же — черным реакционерам — пришлось по душе мыслители, преданные «отжившей теологии» и «устарелой

метафизике». Однако, именно коренное различие в воззрениях и верованиях обязывает нас судить противников правдиво и беспристрастно. О престарелых юбилярах искони принято говорить в несколько приторных тонах. В наше смутное, ответственное время да позволено мне будет нарушить этот, в сущности фальшивый обычай, и поговорить о Милюкове в той или иной мере по существу. Ради соблюдения строжайшего беспристрастия, я не коснусь политической деятельности Милюкова. В политике все зыбко, все текуче. Политический поступок, сочтенный сегодня подлым и нелепым, завтра может поразить своим благородством и мудростью даже «черную ворону», изображенную, по словам Милюкова, на картине Сурикова. Нужды нет, что ни в природе, ни на картинах, черных ворон не бывает, зато в политике, и в особенности милюковской, встречаются всяческие химеры. Оставим же их на сегодня в покое и займемся неопровержимыми реальностями.

Тому назад полвека, будучи тридцатилетним приват-доцентом, написал Милюков свои «Очерки по истории русской культуры». С этим сочинением я познакомился впервые еще на школьной скамье. Разумеется, истинного духа милюковской книги я тогда не уловил. Но, несмотря на легкомыслие, неразлучное с юностью, я заметил элементарность, упрощенность «Очерков» и какую-то инстинктивную, утробную ненависть автора ко всему конструктивному, к сложному цветению культуры. В этой несомненно порочной, революционной упрощенности было что-то особое, непохожее на модное в те годы опрошение Толстого. Но истинный смысл такого несходства, такой разности, я понял гораздо позднее. Помню, что мысленно я сравнил «Очерки» с гимназическим учебником по русской литературе Саводника, умудрившимся вселить в меня года на два отвращение к поэзии Пушкина. Превратностей судеб человеческих в те далекие времена я познать не успел. Да и мог ли я предположить, с облегчением закрывая книгу Милюкова, как мне казалось, — на-веки, что через много лет, в горьких условиях эмигрантской жизни, мне придется внимательно перечитывать «Очерки», к тому же не-

померно разбухшие от авторского тщеславия. Однако, спешу сказать, что труд мой и терпение даром не пропали: «Очерки» — этап, и притом немаловажный, на путях революционного распада российской культуры.

В одном из самых бесконечных «введений» Милюков пишет: «В 'Очерках' придется новому поколению молодежи черпать знания, которых у нее недостает». Какие знания разумее в данном случае Милюков? Знание русского языка например? Ведь входит же язык неотъемлемой частью в сокровищницу русской культуры. Но Бог мой, на каком удручающем безобразном жаргоне пишет сам Милюков! Чего стоит хотя бы «новое поколение молодежи». Выходит как будто по Милюкову, что существует на свете еще и старое поколение молодежи или новое поколение старцев.

«Поэт-помещик» (так одним словом определяет Милюков поэзию Фета) писал, как известно безглагольные стихи. Очевидно, состязаясь с ненавистными помещиками, Милюков упорно пытается сотворить безглагольную прозу, основанную вдобавок на странном преобладании родительных падежей. Мы усиленно советуем новым поколениям старцев, и юношей, раскрыть наудачу милюковскую книгу. Они без труда обретут в ней языковые перлы, подобные следующим: «Во всяком случае, наличность влияния соседства, даже и отдаленного, бесспорна, и сфера этого влияния значительно шире круга явлений прямого переселения». Или вот еще поучительный для молодежи языковый образчик: «передвижений путей мировой торговли, по мере открытия вселенной для международных отношений».

Коротенькая идейка уравнительного прогресса вынуждает Милюкова огульно отрицать доподлинный мир идей и религии и заставляет нашего прогрессиста безысходно топтаться на одном месте. Такая безыдейная толчея роковым образом отражается на языке, засоряя его бесчисленными плеоназмами. С удивительным самодовольством развозит Милюков черным по белому немилосердную нелепицу: «Черты изложения освещены при свете научного изучения»; «объ-

яснение должно заключаться в охарактеризованном общем характере»; «мнению противопоставлен взгляд, совершенно противоположный»...

Полнейшая распушенность языка очень характерна для Милюкова и несомненно связана с нигилистическими склонностями этого громоздкого публициста. Не случайно язык и стиль Милюкова разительно напоминает писания Чернышевского. Он нисколько не стыдится, например, говорить о музыке Римского-Корсакова на своем митинговом жаргоне: «Трагедия Снегурочки или приключения Садко трогают зрителя (!), но оставляют его мыслительный аппарат в бездействии».

На этот раз смысл суконного заявления Милюкова по крайней мере понятен: Наш музыкальный «зритель» упрекает музыку Римск.-Корсакова в недостаточной преданности идее всемирного прогресса. Вот если бы Снегурочка, перед трагической своей гибелью, внезапно «дернула» Карманьолу, а Садко грянул пропагандную арию, избличающую реакционность православия, тогда бы наконец заработал «мыслительный аппарат» самого Милюкова. Нет, напрасно силится сочинитель «Очерков» «осветить» свою убогую идеологию «при свете научного изучения»; ни заигрывание с наукой, ни философски наивные ссылки на мыслителей вроде Огюста Конта и Спенсера, ни блистательное презрение к Гегелю, не в силах выручить его из смехотворного положения. Эта наукообразность, сильно смахивающая на самое обыкновенное шарлатанство, только окончательно запутывает нашего престарелого приват-доцента и лишает его последних способностей к построению и изложению собственных скудных домыслов. Так, например, написав первый том «Очерков», обильно снабженный для соблюдения научного фасада картами и чертежами, Милюков добавляет к нему пояснительное заключение, а в предисловии дает читателям беспремерный, небывалый в писательской практике совет: «Я могу, к сожалению, предложить только одно средство для облегчения чтения: пусть читатель предварительно ознакомится внимательно с подробным изложением содержания книги по

приложенному сначала (!) оглавлению и отсюда пусть прямо перейдет к заключению» (подчеркнуто мною. Г. М.)

По-видимому, для Милюкова и его поклонников «Грядет с заката царь природы», но не взирая на такие чудеса, вряд ли придется «новому поколению молодежи» черпать в «Очерках» знание русского языка. Ведь «Очерки», как мы только что убедились, неспособны даже научить кого-либо элементарнейшей умственной дисциплине. Порядку и последовательности нужно прежде всего обучить самого Милюкова, сердобольно стараясь разъяснить ему простую и одновременно основную истину: конец всякой вещи неизменно находится на ее конце, а начало — непременно обретается в начале. Пока же на основании «Очерков», «новое поколение молодежи» вправе повторить Милюкову вопрос некогда заданный, по словам Прутковского деда, очень красивой девушкой кавалеру де Монбасону: «государь мой, что к чему привешено: хвост к собаке или собака к хвосту?».

Но для чего же все-таки понадобилось Милюкову огород городить, туман нагонять — возводить какое-то жалкое подобие научных построений? Дело в том, что «Очерки» рассчитаны на безликих и бесчисленных провинциальных буржуа, вкусы и верования которых Милюков всегда старательно обслуживал. Провинциалы тянутся к моде, к столице, они любят всяческие цивилизованные выкрутасы, незаконные, мудренные усложненности. И вот, читая «Очерки», упорно, неотвязно, вспоминаешь пророческие слова Константина Леонтьева: «Приемы эгалитарного прогресса — сложны, но цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию. Цель всего — средний человек: буржуа спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже спокойных».

«Очерки» — произведение спокойного среднего обывателя, обслуживающего вкусы точно таких же средних, спокойных, многомиллионных Милюковых, Джонов Булей, Дюпонов, Миркиных и Гецевичей. А что научность «Очерков» не только дутая, но и совершенно продувная, показать совсем не трудно. Об этой научности мы поговорим подробнее во второй части нашей статьи, а сейчас постараемся добро-

совестно разобраться в попытке Милюкова научно формулировать понятие национальности.

К такой попытке поневоле привела нашего сочинителя основная тема «Очерков». Я говорю поневоле, ибо сам Милюков отлично сознавал, что лучше было бы ему на этот раз от решительных определений воздержаться. Материалистическая позитивная доктрина отрицает в человеке живую душу, незаменимую бессмертную личность. Милюков спешит заявить о своей верности этой доктрине: «Я готов, — пишет он, — присоединиться к протесту против метафизической свободы личности» и добавляет: «Мы даже не знаем, что осталось бы от индивидуального сознания, если бы исключить из него все, принадлежащее коллективному сознанию». Дело, конечно, не в милюковском протесте, от которого, мы уверены, метафизическая свобода личности нисколько не страдает, и не в безнадежно абсурдном «коллективном сознании», а в невероятном апломбе седовласого нигилиста. Ведь если отрицать в человеке бессмертную душу и следовательно доподлинно духовную свободу его личности, то понятия национальности и нации надо признать фиктивными, призрачными. Правда, можно еще попытаться, насильственно слив воедино эти два весьма различные понятия, отождествить их (т. е. по существу упразднить) с понятиями племени, этноса, туземщины. Материалистические воззрения на мир логически к этому приводят. Но Милюкову не до логики — у него своя забота. От строгого разделения понятий он трусливо уклоняется, прибегая к обычному для этого журналиста приему: в разгаре рассуждений, Милюков внезапно подменяет слово национальность словом нация и, как ни в чем не бывало, строчит себе свои серые домыслы дальше. Причину такой скоропалительности отгадать легко: отличить нацию от национальности для Милюкова в высшей степени опасно. Нельзя же успокоиться на том, что, мол, национальность де маленькая, а нация — большая. Пожалуй, всякий возразит, что нет никаких оснований называть громадную Совдепию нацией, а маленькую Португалию, крепко соблюдающую великие духовные традиции своего прошлого, всего лишь на-

циональностью. Нет, пришлось бы Милюкову, чего доброго, заговорить не об одних мерах и числах, а и о духовных качествах. Но этого то именно он и боится. Герой Достоевского, некий бравый капитан, наслушавшись атеистических разговоров, воскликнул в недоумении: «Если нет Бога, то какой же я капитан!» Милюкову, не на шутку, заговорившему о духовных качествах, оставалось бы только горестно перефразировать капитана: «Если есть Бог, то какой же я слугитель прогресса!»

Итак, Милюков предпочел просто-напросто «передернуть картишки», что все же не избавило его от второй, и не меньшей беды. Отожествить в полной последовательности с материалистическими верованиями понятия национальности и племени наш ученый сочинитель не отважился. На такую «расистскую установку» могли бы тяжело разгневаться некие щедрые читатели и даятели. И вот, в поисках выхода, Милюков, подобно новоявленному Колумбу, пускается в неведомый путь: «Национальность, — пишет он, — есть понятие не естественно историческое и не антропогеографическое — а чисто социологическое... Национальность есть социальная группа, располагающая таким существенным и необходимым средством для непрерывного психического взаимодействия, как язык, и выработавшая себе постоянный запас однообразных психических навыков, регулирующих правильность и повторяемость явлений этого взаимодействия».

К сожалению, Милюков нигде не удосужился определить — что же такое, по его мнению язык. Несомненно одно: еврейский жаргон он языком почитает. Вряд ли решился бы Милюков исключить еврейскую народность из числа национальностей. Пусть так! Согласимся с Милюковым на время, признаем еврейский жаргон за язык. Но не обязывает ли нас такое признание к дальнейшим уступкам? Почему бы в самом деле не включить в число языков все существующие в мире жаргоны? Тем более, что всякое наречие, всякий говор, всякий жаргон, непременно объединяет какую-либо социальную группу и при том со всеми признаками, упомянутыми Милюковым. Не придется ли высокоученому автору «Очер-

ков» в свою очередь согласиться и с нами — приняв в семью национальностей любое сообщество жуликов, быстро и ловко владеющих своим особым жаргоном: часы — червонные бимбары, делить — дуванить, есть — шамать, и т. д. Что же касается признаков, определяющих, по мнению Милюкова, всякую национальность, то ведь тут они все налицо, включительно до «постоянного запаса однообразных психических навыков, регулирующих правильность и повторяемость явлений этого взаимодействия»...

2.

В первой части этой статьи, говоря об элементарности, упрощенности милюковских «Очерков», я вспомнил о модном когда-то опрощении Толстого. В наше суровое и покаянное время странно было бы не осудить сектантских заблуждений толстовства, бесспорно и много способствовавших всероссийскому крушению. Но чувство жизненной правды, но беспристрастное обсуждение прошлых ошибок, легко устанавливают великую разницу между толстовским опрощением и милюповской упрощенностью. Да и вообще по меньшей мере смешно сравнивать большого художника, человека тончайшей душевной культуры, с утилитарным пропагандистом цивилизаторского эгалитарного прогресса. Кстати сказать, точнее всего определяют Милюкова именно эти штампованные международные словечки, стертое словесное клише. Лев Толстой — единственный, незаменимый, а милюковых множество, и имя им — легион. Великого с ничтожным сближают лишь неисцелимые изъяны, провалы совести и духа. Такие провалы в душе Толстого были. Живая вера в Бога, в чудо, в возможность духовного преображения земного мира, Толстому не присуща. Творец лишил его от рождения этого высочайшего дара. Всю жизнь, с отроческих лет и до последнего своего вздоха, страдая и отчаяваясь, жаждал Толстой уверовать в Бога и в бессмертие, жаждал и не мог. Художник — мыслитель, верой своей обличает мир «вещей невидимых,

как бы видимых», ищет оправдания Божества. Толстой соглашался на меньшее: обрести веру уже означало бы для него основаться в абсолютной правде. Но вера и правда бежали Толстого. Мир первобытный и сложный мир культуры были одинаково доступны ему. Толстой все видел, все слышал, все понимал, и вот без веры — все суета сует и всяческая суета. В отчаянных поисках правды стал совлекать он с жизни покров за покровом, отрицать науку, право, отечество, таинства, церковь и в особенности главного своего врага — красоту, во всех ее обликах обманчивую и лживую.

Но под насильственно совлеченным златотканым покровом обнаружилась для Толстого даже не Тютчевская роковая бездна, а некая безымянная пасть, «черная дыра», поглотившая умирающего Ивана Ильича. И тогда поистине стал Толстой воплощенным отчаянием, ибо в опрощении искал он не смерти, а целительной жизненной правды. Пусть за свою долгую жизнь сказал и написал Толстой немало неправедного. И все же мы тяжело перед ним виноваты. Слова, оброненные лишенным высшего дара страдальцем, человеком, измученным бесплодными поисками веры, мы слишком часто называли кощунственными. Между тем подлинного надругательства над Богом и верой, над культурой и творчеством, мы совсем не замечали, или, что гораздо страшнее, не хотели замечать. Мы, как истые русские мальчишки, ожидали денно и нощно осуществления рабской уравниловки, восхваляемой печатно и устно корыстными завистниками. В самодовольном проповеднике пошлейшей прогрессивности мы видели ум, в невежественной пропаганде безбожия — науку. Святейший Синод, отлучивший Толстого от церкви, оставил однако в покое истинных растлителей жизни. Они же, имея своих ставленников по всем общественным учреждениям и учебным заведениям, нагло ширили революционную пропаганду и, распоясавшись по-милюковски, открыто кощунствовали. А нелепая вера в прогресс и науку охватила, обуяла русских людей еще с середины прошлого века. Талантливейший поэт, но человек слабовольный, неумный Полонский, сидя в Петербурге, в самой гуще разнузданной пи-

саревщины, удосужился написать стишки во славу всеобщего идола:

Царство науки не знает предела,
Всюду следы ее вечных побед...

Эту «научную поэзию» тотчас подхватили восторженные курсистки и ликующие гимназисты, не на шутку приступившие к преобразованию отсталой России. И не успел Милюков толком взяться за свои «Очерки по истории русской культуры», как научные стишки Полонского превратились в народное достояние. Пишущему эти строки неоднократно доводилось слышать «Царство науки» в исполнении так называемых «скубентов» («студентов»), или иначе «волчков», изрядно зашибавших копейку по столичным пивным и харчевням чтением вслух прогрессивных сочинений русских поэтов. Войдет, бывало, такой «скубент» в пивную Горхина в Москве на Арбате, облюбует столик, окруженный студентами, встанет, как полагается, «в театральную позицию», и втянув квадратную голову в плечи, уставившись на слушателей наглыми белесыми глазами, просипит с тремолями и паузами научные стишки Полонского. Покончив с декламацией, подмигнет бродяга просвещенной аудитории: дескать и я кое-что понимаю в науке, да и Бога то никакого в природе не имеется, несмотря на ф орменное распоряжение начальства!

Сценка, только что нами описанная, могла бы называться на высоко-ученом языке Милюкова «идейной смычкой сознательного пролетария с передовыми элементами нового поколения молодежи». Но поучительность этой сценки заключается для нас не столько в отношении к ней Милюкова, сколько в поразительном сходстве «однообразных психических навыков», свойственных декламирующему стишки «скубенту», с не менее однообразными писательскими навыками автора «Очерков по истории русской культуры». В своих обширных «введениях» и «заклЮчениях», Милюков свячески старается внушить читателям, что и он понимает в науке не хуже Конта и Спенсера. А главнейшее предназначение науки по Милюкову — доказывать, что никакого Бога в природе не

имеется и потому ничего нет вреднее и реакционнее православия, испокон веков служившего царям и попам для эксплуатации темного люда. Отвращение и презрение к религии исчерпывающе характеризует Милюкова, ненавидевшего вообще все явления жизни, недоступные его пониманию. А понимать по Милюкову значит учитывать что-либо арифметически. Ненависть ко всему непонятному, сложному, лишний раз сближает Милюкова с наихудшими представителями черни, всегда готовыми попираť любые проявления им недоступной культуры. Да, поистине велика разность между толстовским опрощением и милюковской упрощенностью! Стремление к опрощению возникло в Толстом от предельного пресыщения культурой, от того, что слишком хорошо понимал он трагедию ее условности. Милюковская упрощенность решительно ни откуда не возникла, а просто-напросто с Милюковым родилась, предопределив тем самым его полную неспособность к культуре. Безысходная драма Толстого состояла в том, что всю свою жизнь искал он познать абсолютное, а находил лишь условное. Великолепное самочувствие Милюкова происходит от похвальной веры «профессора» в абсолютную ценность начальных правил арифметики. Осилев эти правила, «профессор» вообразил себя на вершине премудрости и тотчас же решил написать книгу о русской культуре с точки зрения сложения и вычитания. Это легкое и одновременно приятное занятие доставило автору двойное удовольствие: приобрело ему поклонников в лице, или вернее в безличии, бесчисленных интеллигентских Петрушек, бескорыстных любителей грамоты, и с лихвой отомстило русской культуре за ее непонятность и сложность.

Дело, предпринятое Милюковым, сводилось к весьма упрощенному двустороннему приему. Предстояло во-первых наградить минусами ненавистную православную церковь, со всеми ее угодниками, проповедниками и служителями, всех царей и императоров, включительно до Петра Великого, русских поэтов и писателей, от Державина до Фета и Достоевского, и даже всех полицмейстеров, исправников и урядников; во-вторых, надлежало снабдить жирнейшими плюсами

достойных предшественников нашего цивилизованного нигилиста, начиная с сектантов XVI века, вроде Матвея Башкина, утверждавшего что в Евхаристии нет ни Тела, ни Крови Христовых, а есть простой хлеб и вино, и беглого холопа Феодосия Косого, призывавшего не почитать родителей, и не признавать крещения, Причастия и молитвы. Неизбывная ненависть к православной церкви вынуждает Милюкова приветствовать, как просвещенных проводников прогресса: безпоповцев, хлыстов, скопцов, евангелистов, толстовских опрошенцев, молокан и наконец живоцерковцев, во главе с большевизанствующими расстригами. О Святом Сергии Радонежском, о Святом Стефане просветителе зырян, о вековой культурной деятельности Троице-Сергиевской Лавры и других монастырей, Милюков ни словом не упоминает, молчанием давая понять, что эти суеверные пережитки православия ничего, кроме вреда в свое время русской культуре не принесли. Тем же способом пытается Милюков погрузить в небытие наше светское и государственное творчество. Так, касаясь состояния русской культуры при Екатерине II Милюков обходит полным молчанием всех великих сподвижников великой императрицы. Деяния Суворова и Потемкина, творения Державина и Фонвизина достоянием русской культуры наш самозванный профессор не почитает. Зато не малое количество строк отводит он первому русскому интеллигенту, революционному верхогляду и барзописцу Новикову и совершенно бездарному клеветнику Радищеву.

Основной замысел милюковских «Очерков» так ничтожен, что право не превосходит он своими размерами комариного хоботка. Цель Милюкова «научно продемонстрировать» поступательное движение русского народа по пути, якобы предназначенному судьбою всем народам без исключения. Этот поистине подлейший путь ведет народы от пламенной веры в Бога, через так называемое свободомыслие, к спасительному атеизму, мирному прибежищу упитанных, румяных, оптимистически настроенных буржуа. И вот это то самое «поступательное движение», ведущее народы к постепенной и по возможности безболезненной замене Бога живо-

го очередным Милюковым, и называется на штампованном языке «Очерков» эгалитарным прогрессом.

— Но позвольте, — возразит Милюкову, какой-нибудь упрямый россиянин, — не желаю я ни вашего прогресса, ни вашей уравниловки. Скучища смертная, да и разит от всего этого весьма неблагоприятно самодовольнейшим смердом.

— А уж это как тебе будет угодно, — ответит упряму самодовольнейший смерд, невозмутимо перелистывая страницы милюковских «Очерков», — вот тут я неоспоримо доказал тебе сложением и вычитанием, что иного пути человечеству нет. Ты не желаешь повиноваться мною открытым законам, так погибай же, как муха! Впрочем, на прощанье я все же советую тебе вдуматься в основное положение моего безошибочного научного открытия, гласящее: «мнение и желание большинства непререкаемо». Ты отказываешься от солидарности и эгалитарности, но к ним стремятся многомиллионные Дюпоны и Гоберманы, стремятся и баста! Следовательно, святая правда на нашей стороне. А кроме того, напоминаю тебе слова, давно уже сказанные одним из моих мудрых предшественников, о том, как твоя родина Россия, — «от Смоленска до Ташкента с нетерпеньем ждет студента». Теперь же, когда дождалась таки наконец Россия своего «студента», появились и у нее передовые люди, как обновленцы и живоцерковцы, провозгласившие революционный переход церкви от традиционной неподвижности к прогрессу, например к женатым епископам и освобождению православной Литургии от суеверий и остатков язычества. К сожалению, малокультурная масса и даже образованные представители устарелой церкви, все еще не могут решиться лойяльно содействовать такому просветительному переходу. Но, погоди немного, скоро не только женатых, а никаких епископов в помине не останется, ибо — «зарю святого обновленья уже вдали завидел я»...

По существу, именно так обращается Милюков к своему читателю. Но не желая быть голословным, я предлагаю сомневающимся перечитать хотя бы восьмую главу II-го тома «Очерков» (изд. 1931 г.) посвященную «церкви во время ре-

волюции». Там, под завесой беспристрастных рассуждений, старается Милюков превратить живоцерковцев и обновленцев в верных служителей все той же коротенькой идейки прогресса. На самом же деле Милюков прекрасно понимает, что служат обновленцы всего лишь Чеке, да и то за деньги и по шкурным соображениям. Но уж такова любовь «профессора» к религии вообще и к православию в частности, что сильно надеется он обновленчески-чекистской башкой сшибить все церковные маковки. Однако, такая кропотливая возня с комариным хоботком, или иначе — с идейкой прогресса, завела Милюкова весьма далеко. И пора давно уже зачислить нашего восьмидесятилетнего богохульника в ряды большевицких безбожников, попирателей церкви. Правда, остатки внешнего благоприличия, по недоразумению усвоенного Милюковым в прежние годы, мешает ему открыто «выражаться по Ярославскому». Но апломб и бестактность время от времени выдают «профессора» и ставят его в смешное и позорное положение.

Захотелось Милюкову показать на примере, как губило жестокое православие молодые побеги народного творчества. С наслаждением, смакуя и облизываясь, передает он в своих «Очерках» содержание гнусной народной повести, запрещенной церковью еще в XVII веке. Вкратце содержание повести сводится к тому, как по смерти своей, пришел к райским вратам горький пьяница. Апостол Петр не хочет пустить его в рай. «А помнишь, Петр, — говорит пьяница, — как ты от Христа отрекся? Зачем же ты в раю живешь?» Петр посрамленный уходит прочь. Такая же участь постигает апостола Павла, Давида, Соломона, Святителя Николая, и Иоанна Богослова, которому пьяница напоминает «Вы с Лукой написали в Евангелии: друг друга любите. А вы пришельца ненавидите. Либо руки своей отрешись, Иоанн Богослов, либо слова отопрись!» После этого Иоанн отвечает: «Ты еси наш человек, бражник!» — и вводит его в рай. Бражник располагается на лучшем месте и дразнит обидившихся на это святых: «Святые отцы, не умеете вы говорить с бражником, не то что с трезвым».

Эта кощунственная повесть — подлинный зачаток русского большевизма — приводит Милюкова в восторг. И тем решительнее порицает он варварскую цензуру, запретившую «здоровый смех и веселую шутку». Эти постыдные и роковые для Милюкова слова он, к счастью, нисколько не постеснялся пропечатать в своих «Очерках». Я говорю к счастью, ибо подчас лучше всего изобличают злоумышленника его же собственное нахальство и дремучее невежество. Многим, конечно, известно, как при каждом неудобном случае, пытается Милюков презрительно ругнуть Достоевского — истериком, бесплодным метафизиком и т. д. Но хвала и порицание должны быть основаны на знании предмета. С этой простой истиной не хочет считаться чрезмерно самонадеянный «профессор». Он вкривь и вкось судит Достоевского, не имея отдаленного понятия о творениях великого писателя. Иначе был бы Милюков, временами, поосторожнее на слово. В «Бесах» Достоевского имеется скромная героиня — книгоноша, продающая Евангелие. Революционно-прогрессивные молодые люди однажды подбрасывают ей в мешок с святыми книгами целую пачку мерзких фотографий из за границы, нарочно пожертвованных для этого случая одним весьма почтенным старичком, любившим, по его выражению, «— здоровый смех и веселую шутку». Теперь спрашивается: случайно ли совпадают слова порнографического старичка со словами богохульного дедушки русской революции? Или здесь лишний раз сказался пророческий дар Достоевского?

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» И БЕЛАЯ ИДЕЯ

1.

Когда я думаю о «Возрождении», передо мною прежде всего встают, как живые, люди изо дня в день, из года в год его создававшие. Я близко их знал почти всех. Они были моими друзьями. Как больно говорить о них в прошедшем времени! Но самая острая боль все же немного смягчается при мысли, что мы не первые тщетно оживляем в памяти навсегда отошедших. Горестный опыт утрат, через который проходили при жизни ныне уже умершие, утешает живущих. Так «пронзительно-унылый» стих дорогого нам поэта, посвященный разлуке с близкими, утоляет нашу печаль. Он говорит нам о том, что не только мы оставались одинокими. Мы верим творческому слову волновавшему сердца ушедших поколений. В нем наш оплот, наша нерушимая связь с минувшим, залог нашего собственного бессмертия. Довольно иногда простого восклицания поэта, чтобы напомнить нам о круговой поруке печали. «Иных уж нет, а те далече», — воскликнул, вслед за Саади, Пушкин, скорбя о потерянных друзьях и единомышленниках. «Далече странствуют иные и в мире нет уже других», — вторил им Баратынский, горюя о покинувших его братьях по духу.

Выстраданный стих приобщает нас к мировой соборной боли, к таинству печали, он объединяет всех в жажде всеобщего воскресения, в чаянии победы над смертью:

Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,

Где средь невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев
Я тень священную мне встречу.



Нас мало осталось в живых — прежних, старых сотрудников прежнего, старого «Возрождения», прекратившего свое существование перед самым приходом немецких войск в Париж, в 1940-м году. Нас осталось горсточка, да и та состоит из людей, ни в чем, на первый взгляд, между собою не схожих, ни в чем, кроме общего всем величайшего отвращения к красным хозяевам России. Однако, правды ради, надо оговориться, надо сразу признать, что и в нашей среде, в подтверждение старинной поговорки, нашлись уроды, отыскались изменники. К счастью, таких было немного. И не стоят они того, чтобы лишний раз называть их по имени, как нет оснований и числить их в живых: изменники еще при жизни погружаются в небытие, духовно умирают безвоскресной смертью.

Я отметил сейчас, что оставшиеся в живых старые сотрудники «Возрождения» ни в чем, на первый взгляд, между собою не схожи. Это верно, но лишь внешне, по видимости. По существу же, нас всегда объединяла и неизменно будет объединять религиозная тысячелетняя российская культура.

Совершенно особым образом характеризует старых сотрудников «Возрождения», — по крайней мере их основное ядро, — чувство глубочайшей органичности нашей культуры, приводящее к абсолютной невозможности воспринимать ее в разделении, по частям. Это чувство ведет к слитному, равновесному постижению отечественной жизни, возвращает нас к старо-киевским первоисточкам, к мировосприятию православному, в самом глубоком и одновременно широком, *селенском* значении этого слова.

Такое чувство, такое мировосприятие было в высшей степени свойственно, прежде всего, первому редактору, главному основоположнику идеологии «Возрождения», — П. Б. Струве и его преемнику на редакторском месте, в чрезвычайно многих, если не во всех, отношениях верному последователю его политических и государственных идей — Ю. Ф. Семенову.

В одном из первых же номеров «Возрождения» П. Б. Струве, заранее намечая идейные пути, по которым оно двинется, поместил за своей подписью статью, по существу своему программную, посвященную мыслям и творчеству Константина Леонтьева. Он говорил в ней о государственных воззрениях Леонтьева, о его религиозном, церковно-православном обращении и о так называемом «народничестве» Достоевского. Конечно, Струве прекрасно понимал, что автор «Преступления и наказания», при его уме и гениальности, ничего общего с народничеством и тем более с самими народниками иметь не мог, и потому этим словом обозначал прежде всего грехи его молодости. Ведь уже к концу девятнадцатого столетия разумные люди называли Достоевского народником только потому, что не успела еще выработаться к тому времени достаточно гибкая терминология для точного определения заново образовавшихся идейных течений, народившихся чувствований и понятий. Струве знал, что молодое «народничество» Достоевского с годами перерождалось, и пройдя через долгий страдальческий опыт, преобразилось, наконец, в нечто, по существу своему глубоко религиозное. После русской революции, люди ума и культуры, как Струве, постигли, что под «народничеством» Достоевского скрывался христианский культ родины, Матери-Земли, символизирующий собою самое Богоматерь.

Достоевский основал свое христианство на особо обостренном чувстве к родине, а Константин Леонтьев развивал и возвеличивал идею отечества, неотделимую для него от строго церковного православия и религиозно понимаемой государственности. Леонтьев влагал нам в умы и сердца божественную идею отцовства, а Достоевский запечатлевал в душах мистическую сущность материнства.

В своей программной статье Струве, с необычайной прозорливостью, наметил пути по которым неминуемо должно было пойти «Возрождение». Испытавшие на себе все ужасы русской революции, возрожденцы (мы говорим о ядре «Возрождения»), волей или неволей, сознательно или бессознательно, впадали в русла, проложенные задолго до них Леонтьевым

и Достоевским. Очень скоро возрожденцы расслоились на две группы, на две, по-видимому, неизбывные для русской жизни категории, по существу лишь дополнявшие друг друга и всегда требовавшие своего синтетического слияния.

Одна из этих групп, во главе с самим Струве, Ю. Ф. Семеновым, А. А. Салтыковым, С. С. Ольденбургом, Н. Н. Чебышевым, а, несколько позднее, пишущим эти строки, обосновалась на государственных, имперских, религиозно-отечественных идеях Константина Леонтьева.

Другую группу возглавили Д. С. Мережковский и И. А. Ильин. К ним, по чувствованиям своим, примыкали Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев, И. С. Лукаш, И. Д. Сургучев, К. А. Коровин, А. М. Ренников, В. И. Горянский и многие другие. Каждый из них, по-своему и в меру отпущенных ему сил и таланта, принимал к истокам *родины*, вольно или невольно следовал заветам Достоевского, поскольку призывал он нас припадать к Матери-Земле, прообразу вечного материнства.

На государственных, имперских идеях Константина Леонтьева, на его культе *отчества*, основал Струве «Возрождение» и тем, повторяем, выказал редкую прозорливость, проявил удивительное понимание российской духовной истории, ея тайного, органического процесса.

Самым важным в жизни Константина Леонтьева и потому особенно нужным нам, Струве считал его «погружение в церковную религиозность, сближение с монахами Оптиной пустыни и, наконец, тайный постриг — завершение внутренней душевной борьбы и обращение к религии и Церкви».

— Это обращение к церкви, — говорит Струве, — потому огромный факт русской духовной истории, что Леонтьев — самый острый ум, рожденный русской культурой девятнадцатого века. Как ум, Леонтьев острее и глубже Достоевского.

Иными словами, если самый умный русский человек позитивного девятнадцатого века пришел к религии и Церкви, то неизбежно и окончательно должна вернуться к ним русская национальная мысль, русский национальный ум.

«В чем же значение Константина Леонтьева, как писателя?» — задает себе вопрос Струве, и отвечает:

«В двух направлениях я вижу это значение.

Леонтьев единственный русский писатель, который выдвинул проблему *силы*, как проблему философскую. Поэтому он не только практически но и метафизически понял природу государства и дал ему оправдание. Кстати, сам Леонтьев не считал себя метафизиком, но это верно только в школьном и банальном смысле слова. По существу же, Леонтьев в области постижения исторического процесса, как философ истории и как политический мыслитель — глубоко проникающий метафизический ум. Именно поэтому он постиг сверхразумные (иррациональные) основания бытия государства. Его постижение государства вовсе не натуралистически позитивное (как превратно думает Бердяев), а метафизически-мистическое. У Леонтьева, конечно, были уклоны натуралистические, но эти уклоны более словесные, чем существенные, ибо самый натурализм Леонтьева обвеван мистицизмом».

Дальше Струве приводит определение Константином Леонтьевым самой сущности государства. Считая это определение абсолютно верным, Струве кладет его в основание своей государственной идеологии «Возрождения».

«Государство, — пишет Леонтьев, — есть как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинувшись некоему таинственному независимому от нас деспотическому велению внутренней, вложенной в него идеи». «...Есть люди очень гуманные, но гуманных государств не бывает. Гуманно может быть *сердце* того или другого правителя, но нации и государства не человеческий организм. Правда, и они организм, но другого порядка, они суть идеи, вложенные в известный общественный строй. У идей нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть не что иное, как ясно или смутно созданные законы природы и истории».

Такое постижение Константином Леонтьевым самой сущности государства Струве справедливо называет «не натуралистическим, а именно метафизически-мистическим, самым напряженным выражением *силы* в человеческой жизни, выражением неумолимым, ибо безкорыстным, идеальным,

ибо сверхличным, живым и жизненным, ибо не только живущим, но и животворящим».

«Мне лично, — заключает Струве, — эта сторона в духовном творчестве Леонтьева особенно близка и сочувственна: через собственные политические переживания, через общественно-государственный опыт, я своим путем пришел к постижению объективной мистичности и мистической объективности государства».

Идеологически отправные точки Струве и Константина Леонтьева были прямо противоположными друг другу. Встреча этих двух мыслителей породила особый синтез, их столь различные опыты сливались воедино и приводили к единой цели. Что же еще мог бы положить Струве в основание и обоснование всей государственно-политической идеологии «Возрождения»?

Имперские пути «Возрождения» предreshались окончательно, ибо, если государство, действительно, подобно дереву, достигающему своего полного роста, цвета и плодоношения, то ничем не ущербленный, полноцветный и полновесный идеал его и есть Империя. Всякое здоровое государство, и особенно его воплощенный идеал — империя, основано на неравенстве. Можно сказать, что самой идее государства предпосылается идея неравенства. Это в одинаковой мере ведали и Леонтьев, и Струве. «Понимание государства, — продолжает Струве, — сочетается у Леонтьева с чрезвычайно острым, тоже до метафизически-мистической напряженности возвышающимся, ощущением *неравенства* сил в экономике и истории. Природа построена иерархически, история творится бесконечным множеством неравных во всех отношениях сил. Необходимо сознательное и покорное приятие этой расчлененности и этого неравенства».

Эти идеи Константина Леонтьева далеко не случайно Струве излагает своими словами показывая этим, что он хочет слиться с ними, как бы присвоить их себе. Он восклицает сочувственно: «Никто до Леонтьева не высказал этих мыслей о государстве и неравенстве. Никто, после него, не говорил этого так сильно и так остро. В этих «социологиче-

ских» учениях Леонтьева сливаются и его искания потусторонней правды и, наконец, его своеобразный позитивизм, научная честность, неподкупность его трезвой и испытующей мысли».

«Кроме неумирающих историко-политических идей Леонтьева, — продолжает Струве, — он, глубже всех русских светских писателей, пережил и выразил христианство в его церковно-православном существе, истинном и единственно-истинном для православных. В этом пункте я тоже решительно расхожусь с Бердяевым. Суть христианства вообще и церковного в частности и в особенности, именно в том, что оно есть учение и путь личного спасения. Поскольку же Леонтьев отрицал то, что Бердяев называет «теократической идеей» или «исканием Царства Божия» (на земле), поскольку он отвергал «христианскую общественность», он был, по моему глубочайшему убеждению, *религиозно прав*. В этом отношении он может и должен быть нашим учителем. Я не понимаю, как может христианин искать Царства Божия иначе, как через личное спасение. Поэтому для меня то обстоятельство, что Оптинские старцы одобряли Леонтьева более, чем славянофилов или Достоевского и Вл. Соловьева, не только не тревожно, как для Бердяева но, наоборот, *успокоительно и утешительно*».

Идейная встреча-слияние Струве с Леонтьевым — факт такой огромной важности в духовной российской истории, как и религиозно-церковное обращение вчерашнего язычника, самого умного русского человека девятнадцатого века.

В молодости Струве был «левым», исходил от социалистических теорий и даже достиг известности как один из основоположников марксизма в России. Леонтьев в юности был «правым» и шел от элементарно понимаемой им тогда идеи монархизма.

Быть «левым» и «правым» это значит прежде всего на каждом шагу и повороте грешить тем, что в философии называется коротким замыканием, ошибкой чрезмерно поспешных посылок и выводов. Струве в молодости слишком часто

прибегал к торопливым умозаключениям, но путем горького личного опыта как человек исключительно умный, исцелился в зрелом возрасте от коротких замыканий, приобрел от них полнейший иммунитет. А Леонтьев, благодаря склонности к радикальным решениям и полемическому задору, никогда не мог совершенно отказаться от поспешного вывода. Упрекая его за это, Струве проводит замечательную мысль, которая, по существу, под самый корень подкашивает все «правые» и «левые» положения, или, как принято выражаться теперь «установки».

«Из философии силы и государства, из ясного понимания лестничного строения человечества и иерархического развертывания истории не вытекает никаких конкретных выводов и никаких определенных исторических предвидений. Из того что абсолютное всеобщее равенство невозможно и бессмысленно, не вытекает вовсе никаких вопросов о формах *относительного* равенства. Поэтому будучи *настоящим* учителем и для нашего времени в отношении метафизически и мистически общественно-государственного бытия, Леонтьев не может быть таковым в отношении *конкретной* политики и развертывающейся на наших глазах живой истории. Успехи «демократии» не опровергают философских идей Леонтьева, и успехи «фашизма» их не подтверждают. Историческая и политическая философия не отликает пуль ни в каком смысле и не изготавливает политических фейерверков».

Вот смертный приговор всему «правому» и «левому»! Струве на личном опыте убедился, что не только никакие теории, в том числе и марксистская, но и подлинные творческие раскрытия абсолютных метафизических и мистических истин не применимы в их категорических формах к свершающемуся, еще не законченному, историческому и политическому процессу. Ни изощренные теории, ни открытые великим умом высшие законы бытия, к текучему, незавершенному ходу земных событий искусственно неприложимы. Они должны органически понадобиться живому течению истории, и велик тот государственный деятель, который умеет угадывать таинственный рост этой органичности, и во-время, на

лету, подобно Петру Великому внедрять идеи в жизнь, облекая их в плоть и кровь.

Многие предсказания Константина Леонтьева действительно и дословно сбывшиеся, основывались не на раскрытых им же метафизических законах, а на его трезвом понимании характера русского народа. Леонтьев видел, до какого падения доведут этот народ то сентиментально слащавые, то злобные и мстительные «идеи» наших нигилистов и народников, утвердившихся в атеизме.

То, что Леонтьев видел заранее, как трезвый наблюдатель, Струве познал на собственном тяжелом опыте. Он изжил и победил в себе все «левое», революционное, а Леонтьев преодолел в себе все «правое», реакционное. И тот и другой в зрелом возрасте перешли в идейно иной, высший план, оказались высоко над «правым» и «левым» и духовно встретились друг с другом на имперских путях.

И жизнь «Возрождения» началась с празднования этой знаменательной встречи.

2.

С первых же дней нашего эмигрантского существования стало очевидным, что все надежды белой армии на возобновление войны с большевиками совершенно напрасны и что галлиполийское сидение всего лишь последний этап перед неминуемым рассеянием русских эмигрантов по лицу земли. Ведь очень тогда влиятельная великобританская политика уже нащупывала исподволь, осторожно, всяческие возможности сближения с советами. Крушение имперской, императорской России рассматривалось английскими государственными людьми, как неожиданный подарок, как нечто, чрезвычайно для Англии выгодное. С тех пор миновали тридцать пять лет, и грандиозные успехи большевиков в Европе и Азии, захват советами наиважнейших стратегических пунктов, половины западно-европейской промышленности и целого ряда вчера еще самостоятельных государств вряд ли в чем изменили английскую точку зрения на российские дела. Зато все «сво-

бодные страны» Старого и Нового света, за исключением Испании и Португалии, всецело присоединились к великобританским расчетам в надежде получить и для себя какую-то прибыль от общения со все усиливающейся, не по дням, а по часам, большевизией.

В первые годы своего существования в Турции и в Китае русские эмигранты все ждали каких-то изменений, улучшений, какого-то прояснения в головах мировых политиков, а дождались совсем иного: в поисках скудного пропитания пришлось расставаться с грезами и искать убежища по разным балканским странам, но главным образом, во Франции.

Первым и самым тяжким ударом для нас, недавних военных участников белого движения, и для всех по духу нам близких людей, было сознание того, что и здесь в эмиграции, мы не только ни избавились от февральских либералов, от революционной непрошенной «элиты», от самозванных свободолобивых наставников, но наоборот, оказались безвозвратно опутанными и окутанными их неустанным вниманием и нежными заботами.

Тотчас же по прибытии на Балканы и во Францию, бывшим офицерам и солдатам Белой армии пришлось наниматься на тяжелую работу по фабрикам и заводам, превращаться в слесарей, в маляров, в столяров, плотников, шоферов, лакеев, в гармонистов, танцоров и балалаечников, а после дневного или ночного труда почитать в часы отдыха «Общее Дело» Бурцева, «Последние Новости» Милюкова, «Дни» Керенского, «Руль» Гессена и марксистские «Современные Записки» Цетлина, Вишняка и Фундаминского.

Печатный орган Бурцева сравнительно скоро загдох, очевидно, не столько по недостатку денежных средств, сколько потому, что избалованная энергия престарелого революционного Пинкертонна безвозвратно иссякла. Газета Милюкова, напротив того, быстро окрепла в финансовом отношении и, избавившись от единственного своего серьезного конкурента, приобрела довольно многочисленных подписчиков и читателей.

В те годы, теперь столь далекие, русская эмиграция, мо-

рально возглавляемая вначале генералом Врангелем, потом генералом Кутеповым, Обще-Воинским и Галлиполийским Союзам, придерживалась в своем подавляющем, громадном большинстве весьма консервативных взглядов, что нисколько не мешало ей относиться с недоверием к крайне правым политическим организациям. Белая армия не могла простить им выжидательной тактики, которой они придерживались в ходе гражданской войны.

Все же левую февральскую печать эмиграция положительно ненавидела. Но выбора не имелось, а родной язык, пусть далеко не прозрачного качества, был для русского человека, недавно лишившегося отечества, насущной духовной потребностью.

Кляня немилосердную судьбу, бывшие участники гражданской войны, за неимением выбора, приступили к чтению милюковской газеты, а расчетливые издатели «Последних Новостей» спокойно выжидали действия всемогущей привычки, по уверению поэта дарованной нам свыше, взамен недосягаемого счастья.

Жизнь русских белых эмигрантов, по прибытии на Балканы, в Чехию, Германию и во Францию, сразу же сложилась в духовном и материальном отношении до последней степени неудачно. Все заграничные русские учреждения — посольства, консульства, посольские и прочие денежные суммы захватило еще временное правительство. Повсюду сидели его ставленники, относившиеся явно враждебно к консервативно настроенному белому офицерству и крайне подозрительно к эмиграции в целом, в свою очередь от всей души презиравшей воцарившихся над нею февральских лицедеев.

Различные общественные организации, образовавшиеся в свое время при Деникине за спиной Белой армии, и состоявшие в огромном большинстве из левых элементов, своевременно эвакуировавшись, успели примкнуть к заграничным сторонникам временного правительства.

Православные церковные общины за немногими исключениями, вскоре попали в руки неведомых сообществ, стремившихся посредством многообразного скрытого воздействия

на церковь к политическому перевоспитанию неопытной молодежи, к постепенному разложению в ту пору духовно цельного и крепкого эмигрантского ядра. Бывший царский министр, ныне покойный, сыграл в этом отношении очень темную и до сих пор еще до конца невыясненную роль.

Тем временем голодные русские писатели и журналисты, волей или неволей, шли за денежной помощью к некоему богачу, прозванному «королем жемчуга», и его друзьям, сторонникам и поклонникам февральской революции. Немудрено, что писатель, даже очень и очень консервативных воззрений, вынужден был ради пропитания, присоединить свой голос к хору левых славословий, или же молчать на политические темы, лицемерно ссылаясь на служение чистому искусству.

Деятельность левых интеллигентов немало способствовала разъединению русской эмиграции. Однако злое дело раскола они не могли бы успешно закончить без прямого и упорного содействия правых партийных организаций. Эти, поистине реакционные сообщества, легкомысленной игрою с шапкой Мономаха, с императорской короной, тяжко дискредитировали самую идею монархии в душах многих и многих чистых и честных эмигрантов.

Немногие умеют отличить сущность высокой идеи от ее недостойных служителей. И что говорить о житейском торжище, о политике и политиканах, когда даже в религии большинство не отделяет иного недостойного иерарха, преданного всем грехам и порокам, от сияющей правды догматов и таинств богослужения. Необходимо прямо признаться, что в раздроблении эмиграции виновны прежде всего правые. Они своими спорами о легитимном и нелегитимном претенденте на престол, спорами, здесь за границей совершенно бессмысленными, ибо беспочвенными, снижали идею монархии. И когда один из великих князей объявил себя здесь, за рубежом, на чужбине, всероссийским императором, то всем стало ясно, что этим торжественным, но совершенно бесплодным для русского дела, жестом воспользуются в своих целях лишь Сталин в Москве и Милюков в Париже. Сторонникам всерос-

сийского зарубежного императора Сталин умудрился несколько позднее преподнести существенный подарок в виде младорусского содружества насквозь пронизанного и пропитанного советской агентурой, а Милюков и его ближайшие помощники, подхватив бутафорскую мантию, шутовски щеголяли в ней на радость «февральским героям». Милюковские «Последние Новости» умело углубляли зарубежную рознь, взаимное непонимание, и мастерски раздували в событие малейшее политическое недоразумение в эмигрантской среде. Уже к началу 1925 года они пустили в ход свой главный козырь, бросили в публику соблазнительный лозунг, оказавшийся весьма живучим и ядовитым: «Да здравствует начавшаяся советская эволюция!»

Этот призыв, по верному расчету «Последних Новостей», должен был хотя бы частично ослабить решительную противосоветскую деятельность руководимого генералом Врангелем и впоследствии генералом Кутеповым Обще-Воинского Союза и постепенно погрузить эмиграцию в созерцательное оцепенение. Так помогла милюковская партия некоторым иностранным сообществам, проводившим исподволь в эмиграции, посредством влияния на церковь и на молодежь, коротенькую, но вредоносную идейку непротивления злу. Одновременно, в двух согласованных планах, велась работа по сокрушению здорового эмигрантского ядра.

Вдобавок ко всем несчастьям, в эмигрантской среде наредились евразийцы — некий союз худосочных интеллигентов, призывавших нас по старинке повернуться спиной к гнилому западу, а лицом стать к обновляющей душу Азии, кстати сказать, уже сильно поколебленной к тому времени большевицкой пропагандой. О евразийцах, самих по себе, не стоило бы и упоминать, но, как это часто бывает, наивные рассуждения и теории породили вульгарную практику, из безобидного на вид евразийского яичка вылупился впоследствии младоросский змееныш — странная помесь Хлестакова с Мамаем. Всем памятно как воспользовались большевики младороссами, чтобы лишний раз принизить идею монархии и приучить эмигрантскую молодежь к демагогическим вы-

крикам на митинговых собраниях второй советской партии.

Все же, если не считать канонического и политического шатания некоторых высокопоставленных служителей церкви, крайне вредоносного, духовно развратившего паству, никто не поработал так над разложением эмиграции, как Милюков и его ближайшие соратники.

Уже к началу 1925 года лучшая часть эмиграции устала ежедневно переносить в печати уколы и оскорбления, получать моральные пощечины и затрещины. На страницах «Последних Новостей» открыто порочилось все высокое, святое в российском прошлом. Например, некий Михаил Осоргин теперь уже всеми забытый журналист и «писатель», нисколько не стеснялся высмеивать в милюковской газете всех русских святых и подвижников, выдавая их за дурачков, попрошайек и пьяниц. Осоргин, по примеру большинства журналистов, писавших в «Последних Новостях», подобострастно соблюдал правила, строго установленные самим Милюковым еще в его «Очерках по истории русской культуры», кстати сказать уже здесь, в эмиграции, основательно пополненных, непомерно разбухших от авторского тщеславия.

Недаром, когда в 1939 году «вождю и учителю» исполнилось восемьдесят лет, один из вернейших последователей «маститого», Игорь Демидов, назвал «Очерки» на страницах «Последних Новостей» «евангелием русской интеллигенции».

3.

К началу 1925 года существование лучших русских людей, находящихся за рубежом, стало в моральном отношении непереносимым. Зато наглый нажим врагов эмиграции с Милюковым во главе, породил в ней властную потребность в правдивом печатном слове. Эмиграция жаждала тогда ведущей умственной силы, политической честности и дальновидности, отражения в слове своей любви к России, к её историческому и культурному прошлому. Нужна была большая

ежедневная газета, политическая и одновременно историософская и литературная.

В жизни очень часто, если не постоянно, случается так, что когда окончательно назрет в нас какая-либо неотложная, глубокая, действительно духовная потребность, то совершенно неожиданно находится человек, желающий и могущий удовлетворить эту нашу внутреннюю нужду. В трудное для русских эмигрантов время такой человек отыскался.

В начале 1925 года А. О. Гукасов послал телеграмму П. Б. Струве, проживавшему тогда в Праге, с просьбой приехать в Париж для переговоров об издании большой ежедневной газеты. Струве немедленно откликнулся на призыв. И издание «Возрождения», названного в подзаголовке, по настоянию А. О. Гукасова, «печатным органом русской национальной мысли», вскорости было решено.

Во главе «Возрождения» встал Струве.

Жизнь и судьба этого замечательнейшего по уму, таланту и образованию русского человека одинаково и в высшей степени поучительна для наших правых и левых кругов. В свои молодые годы, будучи одним из основоположников русского марксизма, Струве стоять на месте не захотел. Он медленно, но безостановочно, эволюционировал, вернее, внутренне, религиозно и соответственно с этим политически — перерождался, двигаясь слева направо не в плоскости, а уходя от нее вверх, перемещаясь в иной план, недостижимый для ума, ушибленного и раздробленного партийностью. Струве шел не к правой бытовой биологической органичности, для человеческого духа унижительной, а к бытиевоу духовной цельности. Он, как мы уже говорили в начале этой книги, двигался навстречу Константину Леонтьеву, к идеологическому слиянию с ним.

Судить о молодом «марксизме» Струве необходимо с такой же осторожностью, как требует суждение о молодом «народничестве» Достоевского. Если под сомнительным «народничеством» скрывалась до времени вера Достоевского в надсословную элиту, образующуюся в годину испытаний в крови и страданиях, то под не менее сомнительным «марксизмом»

Струве таилась вера в подлинное существование мира Платоновых идей, дышало упование на высокую зиждательную идею, нисходящую долу, дабы сверху, извне, пересоздавать, преобразовать человеческую жизнь на иной, возвышенный лад.

Но несмотря на незрелость, на идейную неясность такого рода «народничества» и «марксизма», можно и должно различать на них печать нашего общерусского революционного падения. Достоевский искупил свой грех, исцелился от своей одержимости, стоянием у смертного столба, каторгой и солдатчиной, а Струве дано было незримым путем, неведомым внутренним усилием, постепенно и заблаговременно уйти от собственного революционного согрешения, перестроиться, организовать по новому. Падение Струве было сравнительно неглубоким: через настоящую одержимость революцией, он, в противовес Достоевскому, никогда не проходил. Марксизм был для него далеко не так опасен, как было опасно и губительно народничество для Достоевского. В марксистском учении содержится немалая доля истины, и прежде всего потому, что оно проповедует идею, имеющую как бы свое самостоятельное бытие, и извне организующую и перевоспитывающую человеческое общество. Для правоверного марксиста народ, — биологическая гуща, человечина, — не есть носитель «правды». По марксистскому учению «правда» — пусть с нашей совершенно верной точки зрения злая, сатанинская — обретается не в народе, а в организующей его идее. Присущая народникам вера в народную утробу, якобы порождающую из себя самой жизненные истины, всячески чуждая марксизму. Учение Маркса, по существу своему, злодуховно, но все же оно духовно, а совсем не материалистично. Марксизм утверждает материю, как единственную вечную реальность. Но ведь все вечное духовно, и смысл марксистского утверждения сводится поэтому лишь к особому богоборческому приему, могущему обмануть разве только человека улыцы.

Зато все народнические учения, левые и правые, с их верой в народные недра, в народную утробу, глубоко и беспросветно материалистичны. Все злодуховное в человеке мо-

жет преобразиться, религиозно просиять, но обожествление народной утробы способно только, да и то далеко не всегда, привести человека к бытовому исповедничеству, к оторванной от всего духовного пустой обрядности. Народничество убивает веру в идею и потому оно неминуемо приводит к безыдейной демократической толчее на одном месте. Существу, обожествившему утробу, все духовные пути заказаны, а человек, поверивший вчера в марксистские положения, может сегодня уверовать во Христа, из Савла преобразиться в Павла, из революционера превратиться не в мертвого реакционера, но живого носителя имперской идеи.

Именно такого рода превращение испытал на себе Струве. В 1917 году, занимая при временном правительстве пост директора экономического департамента, он был не левым и не правым, а вполне имперским человеком. Это кстати ясно показывает все написанное и напечатанное им, как мыслителем, в течение десятилетия непосредственно предшествовавшего революции. В 1917 году Струве оставалось только бежать без оглядки с директорского поста, от своих случайных, враждебно к нему настроенных сотоварищей.

Приведем теперь чрезвычайно краткую, поневоле скупую и сухую заметку о жизни и деятельности П. Б. Струве, любезно составленную, по нашей просьбе, его сыном, Глебом Петровичем.

Петр Бернгардович Струве родился в Перми 26-го января (7-го февраля) 1870 года. Внук знаменитого астронома, В. Я. Струве, основателя и первого директора Пулковской Обсерватории. Окончил С.-Петербургскую 3-ю гимназию и Юридический факультет Санкт-Петербургского Университета. В 90-х годах был одним из вождей так называемого легального марксизма. Нашумел своей книгой «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» (1893 г.), против которой выступил Ленин. Редактировал первые марксистские журналы «Начало» и «Новое Слово». В 1895 году составил от имени всего оппозиционного движения в России «Открытое письмо Николаю II-му». С этого момента начинается сближение П. Б. Струве с земцами-либера-

лами, в частности с Ф. И. Родичевым и И. И. Петрункевичем, и постепенный отход от марксизма, хотя в 1898-м году П. Б. еще составляет манифест социал-демократической партии. К началу 900-х годов поворот от марксизма к идеализму и от социализма к либерализму окончательно обозначается.

В 1901-м году П. Б. эмигрирует за границу и, по поручению Союза Освобождения, становится редактором еженедельника «Освобождение», органа русского конституционного движения, сыгравшего большую роль в борьбе за конституцию. Выходит оно сначала в Штутгарте, потом в Париже. Сразу после 17-го октября 1905 года возвращается в Россию, где редактирует журналы «Полярная Звезда» и «Свобода и Культура», становится членом партии народной свободы и избирается во 2-ю Государственную Думу. После роспуска последней, отходит от активной политики и становится сначала доцентом, а потом профессором политической экономии в Политехническом Институте имени Петра Великого. Одновременно занимается публицистической деятельностью, отходя вправо от кадетской партии, но не порывая с ней формально. Редактирует «Русскую Мысль», сначала совместно с А. А. Кизеветтером, затем единолично. Под редакцией Струве «Русская Мысль» становится самым интересным русским толстым журналом. Принимает ближайшее участие в сборнике «Вехи», где его статья «Интеллигенция и Революция» противопоставляет традиционному умонастроению интеллигенции положительную национально-либеральную программу. Большой резонанс в России и вне ее получает статья «Великая Россия», являющаяся как бы программой русского национал-либерализма. Она входит впоследствии в сборник статей 1905-1910 года, под названием «Патриотика», основную ноту которого сам автор характеризовал, как «патриотическую тревогу» (более ранние статьи П. Б. вошли в сборник «На разные темы», 1902 г.).

Во время первой мировой войны состоит членом Особого Совещания по продовольствию, а позднее возглавляет правительственный комитет по ограничению торговли с неприятелем — русский эквивалент западно-европейских министерств

блокады, для которого совершает в 1916-м году поездку в Лондон и Париж (во время этой поездки принимает также участие в лекциях о России в Кембриджском Университете). В начале 1917 года получает в Киевском Университете степень доктора политической экономии за вторую часть своего труда «Хозяйство и цена», первая часть которого, вышедшая в 1913 году, составляла магистерскую диссертацию П. Б. Избирается действительным членом Академии Наук. После февральской революции, короткое время занимает пост директора Экономического Департамента министерства иностранных дел при П. Н. Милюкове, но выходит в отставку одновременно с последним. Основывает Лигу Русской Культуры и редактирует журнал «Русская Свобода». На государственном совещании в Москве и в «предпарламенте» занимает позицию на правом крыле, представляя так называемое «Объединение Общественных Деятелей». В одном из последних заседаний «предпарламента» произносит яркую речь, в которой характеризует большевизм, как «смесь русской сивухи с пойлом из Карла Маркса».

С декабря 1917 года по весну 1918 года находится в Новочеркасске и Ростове, сотрудничая с Добровольческой Армией генерала Алексеева и Корнилова. Лето 1918 года проводит в советской Москве на полуполюгальном положении, принимая участие в «Национальном Центре», по делу которого впоследствии заочно приговаривается к смерти. В декабре 1918 года покидает Россию, перейдя пешком финляндскую границу. Участвует в Политическом Совещании в Париже, затем уезжает на юг России, к генералу Деникину, и в Ростове редактирует газету «Великая Россия». После перехода власти к ген. Врангелю назначается Управляющим внешними сношениями Вооруженных Сил Юга России и в этом качестве ведет переговоры с президентом Мильбераном и добивается признания Францией правительства Врангеля. С конца 1920 по начало 1922 года живет в Париже и Берлине, затем переселяется в Прагу, где становится профессором Русского Университета. Возобновляет издание «Русской Мысли», выходящей сначала в Софии, затем в Праге и Берлине. С 1925

по осень 1927 года редактирует «Возрождение». С уходом из «Возрождения», основывает еженедельную газету «Россия», а с 1928 года переселившись в Белград, руководит оттуда, выходящей в Париже, еженедельной же газетой «Россия и Славянство».

В период издания «Возрождения» П. Б. близко стоит к великому князю Николаю Николаевичу и генералу А. П. Кутепову. В 1926-м году он председательствует на Зарубежном Съезде, одним из инициаторов которого он явился.

В Белграде П. Б. возвращается к академической и научной деятельности, сначала в Русском Научном Институте, а потом в сербском университете в Субботице. Одновременно пишет «Экономическую и социальную историю России с древнейших времен до наших дней», приготавливая первый том для печати как раз перед второй мировой войной. Перерабатывает по-немецки свой основной теоретический труд «Хозяйство и цена» и работает над историей мировой экономической мысли. В мае 1941 года, вскоре после вторжения гитлеровских войск в Югославию, арестовывается Гестапо и проводит в заключении два месяца, сначала в Белграде, потом в Граце (Австрия). В 1942 году перебирается в Париж, где до самой смерти продолжает работать над второй частью своей «Истории России».

П. Б. Струве скончался в Париже 26-го февраля 1944-го года, на девять месяцев пережив свою жену, Нину Александровну, урожденную Герд.

Первый номер «Возрождения» вышел в свет 3-го июня 1925-го года. С тех пор минуло 30 лет. Срок немалый для нашей смутной, богатой мировыми событиями, подвижной и изменчивой эпохи.

Но перечитывая внимательно страницы «Возрождения», немедленно убеждаешься в том, как живо, остро и реально отображало оно текущую действительность, как крепко спростилось оно с культурным историческим и государственным прошлым России, как дальновидно, умело оно, присматриваясь к движущемуся противоречивому жизненному потоку, предсказывать политические и исторические повороты, ре-

шения, изменения и события. С годами полностью оправдалось также «непредрешенчество» «Возрождения», его беспартийность, вернее же и точнее было бы сказать, его имперская синтетическая надпартийность, способность сосредоточить, благоговейно сохранить, удержать в себе духовную идею, веками создававшую Киевскую и Московскую Русь и великую имперскую петербургскую Россию. Но с первых же дней занятая «Возрождением» строгая позиция непредрешения нисколько не мешала ему судить о том, какой образ правления желателен и реально осуществим в освобожденной от большевиков России. Так в 1926-м году Струве писал в одной из своих передовиц:

«Республика! К ней у большинства русских людей нет ни малейшего вкуса, ни за рубежом, ни внутри самой России».

Под этим заявлением могли бы подписаться все, за редчайшим исключением, писатели и журналисты, работавшие в «Возрождении» и при Струве, и при Семенове. Все мы одинаково верили в то, что только одна монархическая идея могла бы спасти и возродить наше Отечество. Однако, никто из нас не считал для себя позволительным проповедовать, по примеру правых эмигрантских группировок, эту идею в партийном и реставрационном порядке. Каждый из нас сознавал, что реставрация, опирающаяся вдобавок на заранее составленную политическую программу, была бы нежизнеспособной, типично правой, иными словами глубоко антиимперской, племенной реакцией.

В 1926 году, подводя итог годовой деятельности «Возрождения» и совершенно верно отражая мнения и чаяния не только издателя и всех сотрудников руководимой им газеты, но и всего, тогда еще очень крепкого ядра белой армии, Струве писал:

«Год в исторической жизни и, в частности, год существования ежедневной газеты — короткий срок. Но в условиях зарубежной России этого огромного патриотического исхода, совершенного в борьбе, вынуждено и в то же время свободно,

год есть большой промежуток времени, и он вдвойне велик для нашего дела, дела влияния на общественное мнение.

За это время наши усилия были направлены на объединение *национального* общественного мнения за рубежом.

Мы не задавались при этом мечтательной целью — разом объединить всех, одним ударом стереть все различия, утопить все разночувствия и разномыслия. Это либо было бы невозможно, либо то единство, которое получилось бы таким путем, оказалось бы единством серого и бездейственного безразличия, неспособного ни одушевлять, ни увлекать.

Когда мы начали выпускать «Возрождение», зарубежная Россия в её *национальной* части, живущей преданиями исторической России и живой ее духом, назвала имя того Лица, в котором она увидела и нашла своего Вождя, Великого Князя Николая Николаевича. Став под это знамя, «Возрождение» упорно скликало под него русских людей и, надо думать, достигло в этом деле значительных и прочных успехов.

То объединение, к которому звало и зовет «Возрождение», не есть объединение на какой-либо *доктрине* и какой-либо *партии*.

Основные идеи наши просты и ясны.

Мы сознательно и убежденно приемлем и выдвигаем *личный авторитет* Великого Князя... Авторитет не господства, а *служения*.

Мы сознательно и убежденно рассматриваем себя, как слуг великого организма *Русской Армии*, той силы, которая встала на защиту бытия и чести России против разрушительной *антинациональной* смуты. Эта великая национальная сила и теперь готова каждую минуту ринуться в бой с III-м Интернационалом. Служа ей, мы слуги и глашатаи *белой идеи* и *белого движения*.

Мы сознательно и убежденно настаиваем на том, что Зарубежье должно духовно и политически не вариться в собственном соку, не жить мелкими счетами и перекорами «эмиграции», а всеми своими мыслями и действиями быть обращено туда, к *подъяремной* внутренней России.

Именно эта обращенность к внутренней России внушает

нам и властно диктует не партийно-политическую программу, а некоторые основные и несдвигаемые линии нашего политического мышления и поведения. (Подчеркнуто мной — Г. М.).

Отвергая ложные идеи и злой дух революции, в своих разрушениях себя пережившей и изжившей, мы учитываем великие сдвиги и крупные изменения, происшедшие в народной жизни. *России нужно возрождение, а не реставрация.* (Подчеркнуто мною. — Г. М.). Возрождение, всеобъемлющее, проникнутое идеями нации и отечества (Подчеркнуто мною. — Г. М.) свободы и собственности и в то же время свободное от духа и духов корысти и мести. Поэтому мы стоим непреклонно за установление собственности и предостерегаем от увлечения несбыточными мечтами о восстановлении и реставрации собственности. Необходимо обращаться к России внутренней и идти в нее с ясной и твердой идеей собственности и нельзя идти туда с мечтами о возврате собственности...

Однако сейчас бесплодно вырисовывать те государственные пути, по которым пойдет возрожденная Россия, и тем более нелепо диктовать те формы, в которые выльется ее политическая жизнь. Вот почему у нас нет политических рецептов, а есть ясная и твердая мысль — России нужны: прочно огражденная свобода лица и сильная правительствующая власть.

Наконец у нас есть ясное сознание и твердое убеждение, что духовная крепость и свобода лица, мощь и величие государства в своих глубинах, основах и истоках восходят к непреложным религиозным началам. Отрываясь от этих начал, личность духовно никнет и мельчает, корни ее свободного бытия иссыхают. И государство, которое отнюдь не представляет просто технического приспособления, а есть некий таинственный сосуд национальной, духовной и жизненной энергии, испытывает ту же судьбу, когда отрывается от религиозных начал.

Вот почему для нас Великая Россия и Святая Русь не два различных естества, а лишь два различных лица единой

и живой в своем единстве духовной сущности». (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

Ум Струве не отличался особой гибкостью, переливами и оттенками, он был скорее рудиментарным, зато мощным и глубоким. Эти его свойства отражались и на языке Струве, выражавшем с редкою точностью и даже какою-то тяжело-весной грацией очень сложную, разветвленную мысль, заветную суть предмета. Так в приведенной нами заметке, несмотря на ее краткость, Струве удалось в немногих словах определить идеологические основы «Возрождения», выразить начальные положения, из которых оно выросло и разивалось.

И вот необходимо прямо сказать, что если бы в начале гражданской войны генералы, руководившие белой армией, применили к жизни политическую и государственную идеологию, которую впоследствии, уже в эмиграции, обосновало и развивало «Возрождение», с первых же дней своего существования, то они несомненно оказались бы победителями и спасли бы Россию от ее красных завоевателей. Белому движению прежде всего нехватало *личного авторитета*; ему недоставало царственного или, если угодно, великокняжеского возглавителя, возведенного военными вождями, вполне сознательно и убежденно, на некую мистическую высоту. Причем этот *личный* великокняжеский авторитет должно было бы признать, говоря словами «Возрождения», не как символ господства, а как символ служения. Господство же, прибавим мы от себя, всегда успело бы вступить в свои права.

Идея государственного служения, так настойчиво проповеданная «Возрождением», сама по себе была, конечно, не нова, и тот же великий князь Николай Николаевич, стоя в годы войны во главе российской императорской армии, знал и понимал до глубины, что он *служит* Отечеству, а господствует, начальствует только во имя служения.

Заслуга «Возрождения» состояла в том, что в страшные годы изгнания оно не только напомнило нам об идее царственного служения, но и сумело ее обосновать и развить, опираясь всецело на заветные мысли нашего великого российско-

го государственника Константина Леонтьева. Сила «Возрождения» состояла в том, что под руководством Струве и впоследствии Семенова, *мудро сумевшего продолжить идейное дело своего предшественника*, оно глубоко уходило своими корнями в российскую культуру вообще, и в государственную особенно. «Возрождение», будучи само духовным организмом, умело в трагическую пору нашей жизни органически продолжить, разветвить идеи, на которых в течение целого тысячелетия покоилась русская и российская государственность. Именно благодаря этому, оно проявило совершенно исключительную политическую зрелость, дальновидность, и не только в русских, но и в иностранных делах.

Говоря в своей заметке об усилиях, направленных «Возрождением» на образование общественного мнения, Струве дважды подчеркивает, что он имеет в виду мнение национальной части эмиграции, живущей преданиями исторической России и живой ее духом. Но в таком случае, кого же из русских, проживавших за рубежом, причислял он к лагерю враждебному или по меньшей мере равнодушному ко всему действительно национальному? В первую очередь, конечно, эмигрантов, примыкавших по своим политическим воззрениям, и, что еще важнее, по своему антирелигиозному мировосприятию, к «Дням» Керенского и «Последним Новостям» Милюкова.

К этой немногочисленной, но, благодаря своим связям и денежным средствам, весьма влиятельной части русской эмиграции, «Возрождение» обращалось вначале, хоть и условно, а все же с оттенком некоторой надежды на возможность, если не сговориться, то по крайности что-то выяснить сообща, добросовестно разобраться в политической путанице, намеренно, как потом оказалось, учиняемой главным образом «Последними Новостями». Очень скоро, однако, «Возрождение» вынуждено было признать, что невозможны никакие переговоры, ни с «Днями», ненавидевшими, по свидетельству, Струве, все белое движение в целом, ни с «Последними Новостями», газетой во всех отношениях недобропорядочной,

бесчестной. Эмигрантские круги, примыкавшие по своим взглядам к «Дням» и к «Последним Новостям», Струве считал антинациональными. Уточняя положение, он немногим позднее писал в «Возрождении».

«Наша позиция всегда определялась и сейчас определяется тем, что мы по отношению к «советчине» являемся абсолютными и безоговорочными революционерами или, если угодно, контр-революционерами, и это отделяет и отдаляет нас практически и душевно от Милюкова и Кусковой (известной засыпательницей рвов. — Г. М.), так же, как сближает нас, если мы их правильно понимаем — с Мельгуновым и Быстровым, как бы ни расходились наши программы и наши исторические взгляды. «Генеральное размежевание», то, которое сейчас, и там — в России, и здесь — за рубежом, в умах и в душах производит действительная жизнь, существеннее, крепче всяких теоретических заявлений и партийных программ».

Все же нельзя не заметить, что руководствуясь таким «генеральным размежеванием», Струве, а вслед за ним и «Возрождение», слишком широко понимали все истинно национальное. Ведь объединяющие нас душевно и практически *положительные* признаки неизмеримо важнее *отрицательных*.

Длительный опыт показал нам, что на одном отрицании какого-либо жизненного явления, отрицании, хотя бы и очень дружном, невозможно создать настоящего объединения чужеродных сил. Прежде, чем объединиться, необходимо сообща утвердить нечто положительное и уже тогда всем встать под знамя единой, положительной идеи. Но у верующих в Бога все положительное неизменно зиждется на религии, враждебной или по меньшей мере чуждой людям неверующим. Все свои политические и государственные воззрения, — как справедливо говорит Струве, — «Возрождение» строило на религиозных началах. Такое отношение к государственности в корне неприемлемо для людей неверующих, настойчиво и вполне сознательно отделяющих, отбрасывающих церковь и вообще всё религиозное от государства, рев-

ниво охраняющих дела политические от всякого духовного влияния и вмешательства. Чаяния людей верующих никогда и ни в чем не совпадают с жизненными расчетами неверующих. Жизнь и судьба существ религиозных движется в ином направлении и управляется совершенно иными законами, чем жизнь и судьба атеистов, и это глубочайшее, непреодолимое различие, всегда существовавшее, в наши дни переоценок всех ценностей, пересмотра всех условий и правил общежития, становится прямо роковым, особенно в области политической, как наиболее теперь насущной, непосредственно жизненной.

Все свои государственные воззрения, любовь свою к России, «Возрождение» неизменно выводило из религиозных основ. В этом отношении приведенная нами заметка Струве *чрезвычайно* характерна. «Возрождение» при Струве, равно как и при Семенове, обладало ясным пониманием того, что экономическая и политическая свобода лиц, мощь и величие государства восходят к непреложным религиозным началам.

«Отрываясь от этих начал, — пишет Струве, — личность духовно никнет и мельчает, корни ее свободного бытия иссыхают».

Однако, личность нерелигиозная и, следовательно, по определению «Возрождения», сникшая, измельчавшая, никогда своей вымороченности, своего обветшания не признает, а будет, напротив того, властно и во всеуслышание заявлять о себе, стараться осуществить свои политические «убеждения».

Призывая всех к объединению по признаку отрицательному, по признаку ненависти к советчине, «Возрождение» бесспорно впадало в противоречие с самим собою, но противоречие необходимое и живое, как сама жизнь. Ибо только таким образом можно было измерить, определить до конца всю степень нашего эмигрантского и всероссийского расщепления. «Зарубежный съезд» сыграл в этом отношении первостепенную роль, но о нем речь впереди.

Религиозные основы, на которых строило «Возрождение» свои политические и государственные высказывания постоянно критиковались и высмеивались левой эмигрантской печатью, особенно «Последними Новостями», уличавшими возрожденцев в преданности «бесплодной метафизике». Однако, время — единственный в данном случае нелицеприятный судья, — оправдало без малого все политические предсказания «Возрождения» и показало на деле — насколько реально и трезво смотрели на будущее Струве, Семенов, Ольденбург, Чебышев, И. А. Ильин, Салтыков и Мережковский. Все же политические «прогнозы» Милюкова и его единомышленников оказались жизненно несостоятельными, начиная хотя бы с излюбленного «Последними Новостями» учения о неминуемости советской эволюции, проводившегося с удивительным упорством в течение многих лет этой газетой. Кстати сказать, это самое учение и довело, по окончании второй мировой войны, некоторых очень видных эмигрантов до дружественных поездок в полпредства, а рядовых русских людей до добровольного принятия советского подданства.

О невозможности советской эволюции Струве писал в «Возрождении» неоднократно, начиная с июля 1925 года:

«Мнение Милюкова о состоянии большевизма обозначено с полной ясностью. Это известная концепция эволюции большевизма.

Конечно, большевики, советская власть эволюционирует, т. е. эволюционирует, окружающая большевиков, советская власть, обстановка или среда, а большевики, как политическая сила, эволюционировать не могут. Это можно формулировать еще иначе: *политическая эволюция советской власти полицейски невозможна.*

Смысл развивающихся в России событий заключается именно в том, что коммунистическая партия, властвующая над Россией, *оставаясь сама собой*, допускает иногда уступки, чтобы этой ценой сохранить себя в неприкосновенности во главе России».

В январе 1927 года Струве возвращается к теме советской эволюции: «Каков бы ни был ход экономической эволюции, — пишет он, — какие бы уступки советская власть ни делала в области экономической, — этой эволюции и этим уступкам неотвратимо поставлены и всегда будут поставлены определенные *политические границы*. Ни из какой экономической эволюции не может вытечь непосредственно политическое низвержение, ни политическая капитуляция советской коммунистической власти. Проблема освобождения страны от коммунистического гнета может быть разрешена только на путях *решительной* и самой реальной политической, т. е. контр-революционной, борьбы с советской властью.

В мае 1927 года Струве снова говорит о советской эволюции, обращаясь на этот раз уже к иностранцам:

«Наша точка зрения непримиримых русских и белых противников большевизма, поскольку мы обращаемся к западу, сводится к весьма простым и для нас непосредственным мыслям. Так называемый «русский вопрос» есть вопрос мировой по существу, и мы вовсе не притязаем на то, чтобы иностранцы (англичане, немцы, французы и т. д.) боролись с большевизмом ради нас — русских. Мы им говорим, повторяем, твердим и опять повторяем: ваше дело, ваше бытие, ваши интересы поставлены на карту.

Это, во-первых, а, во-вторых, допустим на одну минуту вместе с вами, что советская власть способна эволюционировать и тем сама собою обезвредится. На это мы всегда отвечаем иностранным оптимистам: вашими устами да мед пить! Ибо, чем больше будет эволюционировать большевизм, тем реальнее, неотвратимее, беспощаднее будет к нему приближаться революция или, что то же — контр-революция.

Мы, русские контр-революционеры, или что то же — революционеры, можем только просить всех консерваторов, либералов, радикалов всего мира содействовать эволюции большевизма. Ибо для нас ясно, что эта эволюция, если бы она — на беду — не была величайшей и глупейшей утопией, — скорейшим путем привела бы нас, непримиримых русских врагов большевизма, к победоносной революции против него.

К сожалению большевики это понимают так же хорошо, как и мы. И потому они не эволюционируют и не могут эволюционировать! А не эволюционируя, они вынуждены лишь менять тактику мировой революции, но от этой идеи и утопии они не могут отказаться.

В тисках немогущего эволюционировать большевизма и бьется Россия. Поскольку же сама Россия развивается даже под ярмом коммунизма, она развивает энергию против него. Всякий, знакомый с реальными условиями экономической и политической жизни и борьбы в России, хорошо знает, что *контр-революционные возможности в России развивались прямопропорционально осуществлению и развертыванию так называемого «Нэпа»*. Простачкам из иностранцев, поучающим нас, белых русских, на тему об эволюции большевизма, мы должны поведать, что нежелание советской власти смело идти в направлении продолжения и завершения Нэпа — диктовалось и диктуется вовсе не верностью этой власти идеалам коммунизма, а совершенно ясным сознанием полицейски-технической опасности для коммунистической власти широкого развития экономической жизни. Диктатура коммунистической партии, в условиях широкого и богатого развития экономической жизни, просто полицейски-технически неосуществима».

Я намеренно сделал довольно пространные выписки из всего сказанного Струве на тему о советской эволюции, ибо невозможно лучше и точнее «Возрождения» формулировать причины, по которым большевизм не эволюционировал, не эволюционирует и никогда не будет эволюционировать. Теперь, по истечении тридцатилетнего срока, стоит сравнить все написанное на эту тему «Возрождением» с утверждениями и домыслами иностранной и левой эмигрантской печати. А ведь бывший редактор «Последних Новостей», престарелый, но все же не поумневший Милюков, и во дни оккупации, перед самой своей смертью, продолжал упорно твердить одно: «Большевизм меняется, эволюционирует, покоряясь законам эгалитарно-демократического прогресса». Если до второй мировой войны упорство редактора «Последних Новостей»

казалось непонятым или недобросовестным, продиктованным какими-то неизвестными международными силами, то во время войны и оккупации стойкость Милюкова обнаружила его ничем не прикрытую, выражаясь сдержанно, ограниченность. Так иногда усиленно ломаем мы головы над каким-нибудь жизненным явлением, кажущимся нам почему-то сложным и таинственным, а потом вдруг обнаруживается, что ларчик открывался просто, обидно просто для нашего самолюбия.

Да, если бы русские люди, проживающие за границей, своевременно прислушались к тому, что говорилось в «Возрождении», то по окончании второй мировой войны было бы выбрано ими неизмеримо меньшее количество советских паспортов, а почтительные визиты в полпредства видных церковных и светских эмигрантов, вероятнее всего, совсем не состоялись бы! И по какому праву, после этих паспортов и визитов судим мы иностранцев за их слепоту и глухоту ко всему происходящему в мире, околдованном советской пропагандой? Винить иностранных политиков за их упорное нежелание и неумение понять сущность большевизма могут только эмигрантские круги, бывшие и оставшиеся верными политическим воззрениям, высказанным в прежнее время «Возрождением». Из всех печатных органов, русских и иностранных, вышедших в свет за последнее 30-летие, только одно «Возрождение» трезво и реально оценивало мировые события и часто задолго предсказывало неминуемость тех или иных политических поворотов и переворотов. Так, например, еще в июле 1925 г. Струве писал в «Возрождении» о китайских делах, волнующих теперь и Европу, и Америку:

«Горе в том, что китайский национализм как-то постепенно сплавляется в одно нераздельное целое с явлениями чужеродного Китая мира, с ввезенным из Совдепии коммунизмом.

Китай тем самым сходит на положение пассивных масс, из которых иноземные силы лепят смертоносное сооружение для разгрома европейских культур. Если красной России удастся организовать красный Китай, то свержение больше-

визма в России не означало бы разгрома коммунизма, а только отступление коммунизма на тыловые азиатские позиции. Непонимание китайской проблемы будет рано или поздно оплачено европейцами чрезвычайно дорогой ценой». (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

В январе 1927 года Струве, обсуждая речь Сталина о китайских делах, снова пишет о смуте, происходящей в Китае:

«Большевизм есть мировая болезнь, мировое зло... большевизм есть навязчивая идея хозяйственного преобразования общества, осуществляемого непременно способом политического насилия... Россия есть лишь то место, где, в силу совпадения целого ряда исторических условий, захват власти большевиками и диктатура пролетариата осуществились раньше и легче, чем в других странах... Вся ставка большевиков на мировую социальную революцию. Поэтому они в таком восторге от азиатского вообще, и в особенности китайского пожара. Поэтому их так утешают экономические затруднения Англии. Все помыслы большевиков направлены на то, чтобы раздуть очаги всех и всяческих революций... Америка и Англия сами создали нынешнее положение вещей своей неустойчивой политикой, своим неумением принять меры против большевизма, своим стремлением сговориться с китайскими коммунистами. Рано или поздно, но все сроки будут пропущены, и выиграют одни большевики. (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

«...Когда русские простачки радуются успехам китайских коммунистов, потому что слепо ненавидят Англию, они так же маломысленны, как те твердокаменные, ограниченные англичане, которые призывают к борьбе с коммунизмом во имя борьбы с Россией. Все, кто колеблют и подрывают в человечестве идею мировой противокommунистической солидарности, совершают величайшее преступление».

А ровно через десять лет, в январе 1937-го года, показывая, насколько монолитными были всегда политические воззрения «Возрождения», Ю. Ф. Семенов писал о коммунизме и китайских делах:

«Коминтерн продолжает свою работу явно в Китае, скрытно повсюду, даже в странах, думающих будто они у себя истребили коммунизм. Коминтерн должен быть уничтожен в его кремлевском гнезде. Коминтерн побеждает только там, где с ним не борются, где с ним вступают в соглашения, где люди в гордыне, в уверенности своего культурного превосходства, надеются подчинить себе коммунизм, заставить его эволюционировать».

По сравнению с проявленной и все еще проявляемой всеобщей политической близорукостью, простые и трезвые слова Струве и Семенова, оценка «Возрождением» русских и мировых событий, воспринимаются нами, как настоящие предсказания. Но есть ли хоть какая-нибудь надежда теперь, когда все сроки кажутся безвозвратно пропущенными, что предупреждающие слова «Возрождения» будут, наконец, услышаны? Вот поистине роковой вопрос!

Но «Возрождение» не ограничивалось дальновидными обсуждениями изолированных политических явлений. Оно сосредоточивало внимание на главном, центральном, производило нужный отбор, нащупывало невралгические точки происходящих событий. Оно выделяло нужное и говорило о насущном. Верное понимание, постижение метафизических, религиозных основ государственности, позволяло ему разгадать, раскрывать и объяснять сущность политических событий и часто предугадывать их весьма отдаленные последствия. О чем, главным образом, говорило «Возрождение»? О русском большевизме, о все растущей опасности его распространения по всему свету, о китайской смуте, итальянском фашизме, немецком национал-социализме, о диктатуре Примо де Ривера, об испанской революции и диктатуре генерала Франко, о признаках начинающегося государственного упадка в Англии, о пагубности социалистических идей, о слепоте английских, американских и прочих государственных деятелей, приспосабливавшихся к тупому самозащитному самоощущению.

Ныне, по истечении тридцатилетнего срока, достаточно перечитать преждевременно сданные в архив страницы «Воз-

рождения», чтобы многому научиться, многое понять в происходящем сегодня.

«Возрождение» умело извлечь из пестрой смены событий лишь то, что имело и до сих пор еще имеет важнейшее значение. Следуя примеру «Возрождения», попробуем и мы привести из него неумирающие цитаты, памятуя, что подчас иное скупое, но полновесное слово, краткое предупреждение, стоят целого тома доморощенных рассуждений.

6.

7.

В начале 1927-го года, как только появились в Англии первые признаки экономических и политических затруднений, ные все усиливающихся, Струве, заранее предвидя в какой тупик заведет эту страну ее социальный радикализм, писал в «Возрождении»:

«Трудности борьбы либерально-консервативной Англии с коммунистической советской Россией заключаются и будут заключаться не в социально-политическом бессилии английского парламентаризма, а в тех пагубных экономических переменах и психологических сдвигах, которые принесла с собою мировая война. Она страшно повысила требовательность низших слоев всего европейского человечества и в то же время — пусть временно, но зато весьма радикально — урезала его экономические возможности.

Против этих трудностей бессильна в известном смысле всякая политика, и уж во всяком случае не только бессильна, но и способна лишь расширить и углубить язвы политика социального радикализма. Когда хозяйственная жизнь расцветает, можно на почве этого расцвета позволять себе социальный радикализм. Разводить же такой радикализм на тощем народном хозяйственном организме, значит, — обольщая народные массы социально-политическим знахарством, только усиливать хозяйственное истощение».

Что же теперь, после второй мировой войны, сказало бы

«Возрождение» устами Струве, Семенова или Ольденбурга, при виде все растущих экономических и политических затруднений Англии, безмерно усиленных социальным радикализмом еще так недавно социалистического английского правительства? Вряд ли бы обрадовалось оно своей собственной прозорливости. Предвидя, какие страшные последствия будут иметь социалистические опыты в западно-европейских фашистских и демократических странах, Струве писал в «Возрождении» о социализме, синдикализме, экономической свободе, частной собственности и в связи со всем этим о судьбах фашизма:

«Да, конечно, экономическая свобода не есть какое-то абсолютное начало, и еще менее могут быть неподвижны, негибачемы, те учреждения, в которых воплощается это начало. Но зная это, мы, и на опыте великой войны с ее «военным социализмом», и на опыте революций всех стран с их социалистическими увлечениями и чрезмерностями, познали всю огромную цену экономической свободы. Она не есть для нас ни абсолютный догмат, ни фетиш, но в то же время она, именно для наших поколений, стала неоспоримой и великой ценностью, за которую стоит и должно сражаться во всех смыслах.

«И то же — с собственностью, в подлинном смысле частной собственностью, завещанной нам римским правом. Собственность в этом смысле не есть для нас абсолют или идол. Но мы познали — и в этом отношении всего более показательным, убедительным, прожитым и пережитым, кровным является наш русский опыт — что *частная собственность и личная свобода неразделимы* и что тот, кто желает установления или сохранения свободы, не может не требовать утверждения или сохранения собственности. *Социализм же, как идеология, как чувство, как настроение, весь был построен на разъединении понятия и идеала свободы от понятия и идеала собственности.* В нашем сознании они теперь снова стали неразъединимы. Поскольку социализм означает просто государственное вмешательство в хозяйственную жизнь и социальные реформы, его сейчас никто вообще

не отрицает. Поскольку же социализм есть абсолютное и сплошное отрицание экономической свободы и враждебное идее собственности отвержение или отрицание ее реальных форм и воплощений, постольку социализм — мы это теперь на нашем историческом опыте познали — есть идея, *разрушительно-реакционная*, и с ней должна быть ведома решительная идейная и практическая борьба.

То, что сейчас называется *синдикализмом*, либо есть течение, законно во всех смыслах опирающееся на положительный и плодотворный, в известных пределах, факт профессиональной организации и организованности рабочих, либо он есть *наихудший вариант социализма суженного до чего-то принципиально не только классового, но и профессионального*.

В самом деле, если с некоторым правом можно отстаивать ограничения экономической свободы в интересах всего общественного целого, то их уж нельзя никоим образом оправдать интересами профессиональных групп или организаций, как таковых. Так, *железные дороги или копи нельзя превратить в «кормления» железнодорожников или горнорабочих»*.

В переживаемые нами годы периодически и планомерно повторяющихся рабочих забастовок, всячески поддерживаемых и раздуваемых социалистическими теоретиками и пропагандистами, рассуждение Струве о социализме и синдикализме звучит поистине как прорицание.

«Наше время, — продолжает Струве, — есть, должно быть и не может не быть эпохой борьбы с социализмом. То, что наши отцы и деды сочувственно и несочувственно считали «социализмом», в значительной мере вошло в жизнь и ею усвоено. Но дух отрицания экономической свободы и частной собственности, к счастью, еще не восторжествовал в мире. Наоборот, реально в экономической действительности этот дух опровергнут, разоблачен и даже — обесславлен. И его необходимо духовно, идейно, теоретически обезоружить и доканать. Нечего и говорить о том, что то, что говорится здесь о социализме, тем более применимо и к коммунизму.

Как бы практически ни расходились настоящие, а не номинальные социалисты с коммунистами, они единого духа с ними».

Смысл заключительных подчеркнутых мною слов Струве, до сих пор все еще не укладывается в головах, как западно-европейских, так и русских левых людей. Несмотря на русский катастрофический опыт, они не могут усвоить простой и неопровержимой истины, гласящей: поскольку где-либо практически водворяется не номинальный, а настоящий социализм, ровно постольку осуществляется на земле голод, нищета и насилие, постольку теряет человек свою духовную личность.

По верному и глубокому утверждению Струве, всякое жизненное явление, приходя в соприкосновение с социализмом, никнет и духовно скудеет. Это, по словам Струве, ставшим основой «Возрождения», всецело применимо и к недавно пережитому западно-европейским миром фашизму. Вот что писал о фашизме в 1927 году первый редактор «Возрождения», как бы предвидел тогда еще не нарождавшийся немецкий национал-социализм:

«Фашизм лишь в той мере есть явление творческое, движущее вперед, не эпизодическое, в какой и он духовно порывает с социализмом. Поскольку же фашизм, где бы то ни было, в какой бы то ни было форме, в какой бы то ни было области будет духовно примыкать к социализму, он будет пролагать ему пути, делать социалистическое дело, то есть дело разложения и разрушения».

«У Муссолини, — мудро оговаривает Струве, — могут быть политические точки соприкосновения с социализмом. Духовно — он не только оторвался, но и решительно противопоставился социализму и его духовным источникам».

В самом деле, мы хорошо знали, что если погиб Муссолини, а с ним и его полезное, антисоциалистическое дело, то в этом повинен не он, а виновато роковое стечение международных обстоятельств, приведших итальянского вождя к ненавистному для него союзу с немецкими национал-социалистами. Но ведь и враждебные итальянскому фашизму запад-

но-европейские и американские демократии, в свою очередь, нанесли себе страшные раны своим военным союзом с кремлевскими социалистами. Только номинальная победа над Германией и Италией отсрочила для них на некоторое время смертоносную расплату за свершенный ими непоправимый грех.

«Как человек, — заканчивает Струве свое размышление о социализме, — прошедший через социализм, переживший его и в то же время изучавший социалистическую мысль в ее первоисточках, я чувствую себя прямо таки обязанным, в меру моих личных сил, участвовать в этой духовной борьбе.

Реакция против социализма есть самое современное и самое насущное явление и задание экономической мысли. В современности уже началось крушение социализма. Русский большевизм есть лишь наиболее красочный эпизод, самый разительный предметный урок, преподносимый всему миру полным глубочайшего смысла процессом разложения и крушения социализма».

Бесповоротное, решительное оттолкновение от подлинного социализма во всех его видах и проявлениях нисколько, как мы уже видели, не мешало «Возрождению» учитывать все слабости европейских и американских буржуазных демократий, как бы утративших инстинкт самосохранения, политическое чутье, государственный разум, слепо идущих на всяческие компромиссы, нелепые, губительные соглашения и сделки с большевизмом, склонным, по их мнению, к благодатной эволюции. Темные заблуждения капиталистических стран заставляли «Возрождение» искать просвета в итальянском фашизме, видеть в нем в известной мере «крупное историческое явление», элементы здоровой реакции на большевизм. И все же «Возрождение» относилось к фашизму с недоверием, с опаской, различая его положительные качества, оно не закрывало глаз и на его тайные немощи. Недаром еще в 1927 году Струве, приветствуя режим Муссолини за твердое сопротивление коммунизму, с осторожностью оговаривается:

«Сильные и слабые стороны фашизма связаны с тем, что

он сам возник в недрах того направления, которое он в значительной мере отрицает, в недрах социализма, принципиально неотличимого от коммунизма. Это придает фашизму жизненность и подлинность: фашизм вышел из переживания и преодоления социализма. Но этим обуславливается и то, что есть на фашизме как бы еще скорлупа того социалистического яйца, из которого он вылупился, и притом — скорлупа не только словесная, но и идейная. Пожалуй, даже еще больше: скорлупа чувств и настроений».

Нам ли, свидетелям роста и крушения немецкого национал-социализма, не оценить удивительной политической дальновидности «Возрождения». Ведь если итальянский фашизм, благодаря ясному правовому уму своего вождя, успешно преодолевал в себе унаследованные им от социализма чувства и настроения, то немецкий национал-социализм пошел иным путем, всячески развивая в себе социалистические навыки и эмоции. Немецкий национал-социализм обнаружил на практике все слабости фашизма, заранее известные «Возрождению». Разбираясь в существовании итальянского фашизма, Струве умолчал о его главной слабости, о его неоязыческой безрелигиозности, грозящей превратиться в полное, последовательное безбожие. Именно этого остерегалось «Возрождение» в фашизме и потому с первых же дней своего существования возлагало всю надежду на испанскую диктатуру, сначала Прима де Ривера, потом генерала Франко, всецело и безоговорочно опирающуюся на христианскую церковь. Здесь Струве, Ольденбург и Семенов проявили по очереди прямотаки поразительную политическую прозорливость. Вот что писал Струве об испанской диктатуре в сентябре 1926-го года.

«По своему внутреннему содержанию — это классический случай принципиальной временной диктатуры, облекаемой полнотой власти для обеспечения успешной борьбы с грозящими государству разрушительными силами. Но не надо забывать, что этот переворот был покрыт авторитетом монарха. Когда испанские радикалы стараются обвинить короля в соучастии провозглашения диктатуры, они только вскры-

вают *внутреннюю законность* этого акта... Но революция в Испании еще не предотвращена».

Через девять лет опасения Струве оправдались: в Испании вспыхнула революция, а еще через год разгорелась гражданская война, началось впервые в мире долгожданное сопротивление Коминтерну, приведшее к установлению в Мадриде диктатуры генерала Франко.

С каким напряжением следили возрожденцы за развитием военных действий в Испании! Каждый день, рукою милого Сергея Сергеевича Ольденбурга, переставлялись булавки, передвигалась извилистая нить на географической карте вывешенной в редакции. С замиранием сердца следили мы за продвижением дорогих и близких нам белых испанских войск. Мы как бы заново переживали тогда дни нашей собственной борьбы с большевиками.

Здесь уместо настойчиво подчеркнуть, что все решительно политические мировые события воспринимались и рассматривались «Возрождением» лишь с точки зрения российских национальных интересов. Всех, вступавших в борьбу с Коминтерном, «Возрождение» считало друзьями России и всякое соглашение с большевиками, кем бы то ни было заключенное, оно принимало, как враждебное действие, направленное против нашего отечества. Все враги красных кремлевских властителей были друзьями «Возрождения» и все, заключавшие торговые сделки или военные союзы с большевиками, становились для него, понятно, врагами. Иного отношения ко всему происходящему в мире коренные возрожденцы не ведали, да и не могли бы себе разрешить. Так, когда в 1939 году, перед началом войны, правительство Гитлера подписало некое подобие торгового и военного союза с большевиками, «Возрождение» круто, на мой личный взгляд чрезмерно круто, повернулось спиной к Германии, не предвидя и даже не желая предвидеть изменений, могущих произойти в германской политике, и вскоре действительно происшедших. В памятные дни 1941 года, когда Германия объявила войну Советам, положение «Возрождения» могло бы стать более, чем трудным. Выручила нас тогда лишь грубая прямолинейность

немцев, прихлопнувших задолго до того всякую более или менее независимую печать в оккупированных ими странах. Впрочем, благодарное чувство к Франции, гостеприимно приютившей русских эмигрантов, заставило бы «Возрождение» в годы оккупации молчать на политические темы, или высказываться крайне скупой и осторожно. Но вряд ли осудило бы оно русских эмигрантов, так или иначе содействовавших немцам в их борьбе с большевиками. Что же касается владовского движения, то «Возрождение» несомненно и всецело приветствовало бы его.

Зарубежные русские люди, подлинно национально настроенные, живущие преданиями исторической России, и живущие ее духом, всегда одобряли и будут одобрять политику любого государства, вредящего большевикам, ибо всякий вред, наносимый советской власти, прямо или косвенно содействует воскресению Российской Империи. Так рассуждало «Возрождение», и политика им проводившаяся, неизменно руководствовалась этим лозунгом. Эта формула настолько владела «Возрождением», что подчас, опять-таки на мой личный взгляд, его суждения о политических мерах, принимавшихся тем или иным государством по отношению к Совдепии, лишались гибкости, были слишком темпераментны, страстны. Ведь одно — верно предвидеть что-либо, другое — умело воспользоваться собственным осуществившимся предвидением. Интуитивным даром «Возрождение» обладало с избытком, но умение расчетливо пользоваться в своих целях политически враждебным явлением, иногда, по горячности, ему изменяло. Уж слишком было оно общественно честным, религиозно глубоким, чтобы хитро мириться с каверзами бесстыдной и скользкой западно-европейской политики. Зато и было же оно монолитным, цельным, твердым, органичным.

Юлий Федорович Семенов, сменивший П. Б. Струве на редакторском посту, с неуклонной мудростью продолжал выращивать семена государственных идей, посеянных его предшественником в умах и сердцах многочисленных эмигрантов, оставшихся верными великому прошлому России. Он с редким упрямством и упорством, но и с редким умением, раз-

вивал те же мысли, проводил ту же политику, и как редактор, как администратор, оказался одареннее, тактичнее, внимательнее, справедливее и свободнее Струве. Лично он, конечно, не был ни выдающимся оригинальным мыслителем, ни писателем, ни даже блестящим журналистом, но как редактор, он обладал исключительным умением группировать вокруг себя нужных сотрудников, сливать их в единую духовную семью и тайно, невидимо и неслышно влиять на них, побуждая трудиться и выражать насущное, заветное.

Справедливо говорит В. Даватц в своей брошюре «Правда о Струве», изданной в 1934 году в Белграде, что «Возрождение» навсегда «сохранило то направление и тот характер, который придал ему его первый редактор». Эти слова надо запомнить, ибо в них ключ к верному пониманию «Возрождения». Они тем более веско звучат, что были опубликованы бесспорно с ведома и одобрения Струве. В них содержится полное подтверждение настойчиво проводимой нами мысли о монолитности, органичности «Возрождения». Заслуга Семенова, как редактора, в том и состоит, что он сумел вырастить идейные семена, посеянные Струве. Причем он выращивал их не сам, или вернее, не единолично, как Струве, а при помощи им организованной силы, дружным соборным устремлением сотрудников, им руководимым. Как редактор, Семенов был подлинным преемником государственных и политических идей, положенных Струве в основу «Возрождения». И тень Константина Леонтьева, вызванная Струве, продолжала и при Семенове витать над «Возрождением», по-прежнему одухотворяя его, определяя и направляя его сочувствия и несочувствия. От этого пребывало оно неизменно цельным.

8.

Сам Семенов, говоря о пути пройденном «Возрождением» за десять лет его существования, как бы гордится своей преданностью идеям и мыслям, впервые намеченным Струве. Он справедливо гордится тем, что не пришлось «Воз-

рождению» сворачивать с однажды избранной дороги, искать иного русла, изменять основам своей политики. В самом деле, эта политика не нуждалась в изменениях, ибо исходила из органического постижения жизни, из понимания тайных законов государственности. Можно сказать, что религиозное мировосприятие «Возрождения» продолжало его явные деяния, его конкретную трезвую, реальную политику, неизменно последовательную, монолитную.

«Возрождение» начало издаваться в дни, когда в Совдепии развивался так называемый НЭП. Тогда большевики как будто отступали под натиском возненавидевшего их населения. Зиновьев звал коммунистическую партию повернуться «лицом к деревне», Бухарин хвалил «кулака» и предлагал всем обогащаться. Образовался класс нэпманов, соривших деньгами, успевший соблазнить многих русских эмигрантов, уверовавших в якобы начавшуюся буржуазную эволюцию советской власти. «Возрождению» пришлось неотступно, в течение долгих лет, бороться с этой вредносной теорией.

Со всех сторон призывали «Возрождение» к «засыпанию рвов», упрекали в нежелании считаться с фактами, в узости, в ослеплении ненавистью. Эмигранты, уверовавшие в эволюцию советской власти, поддерживали в иностранцах через посредство «Последних Новостей», стремление сговариваться с большевиками. Русские простачки радовались, когда европейцы и американцы открывали кредиты советской власти, ликовали в наивной надежде на то, что часть денег, выданных красному Кремлю, пойдет народу, улучшить его благосостояние.

И вот, поддержанные иностранцами, большевики окрепли и снова перешли в наступление, снова объявили войну русскому народу. Пятилетки, колхозы, раскулачивание, массовые ссылки крестьян, расстрелы, голод, людоедство, миллионы голодных смертей... «Возрождению» пришлось в период пятилеток доказывать многим и многим эмигрантам, что их надежды на организованные большевиками колхозы ни на чем не основаны. Эмигрантская левая печать на все лады внушала нам, что в колхозах нарождается новый чело-

век и что на него-то и надо равняться, ему подражать. Однако, выстрел Николаева прекратил все эти восторги и показал насколько право было «Возрождение», проповедуя непримиримость до конца. Убийство Кирова обнаружило, что в коммунистической партии, и даже в самом окружении Сталина, не так то уж все согласованно и дружно идет к единой цели, как это полагали некоторые наивные эмигранты и чересчур доверчивые иностранцы.

«Возрождение» упорно твердило и доказывало, что зарубежные русские люди не должны, да и не могут, равняться ни на крестьянство, ни на комсомольцев, ни на красную армию, что эмиграция должна сохранять свое лицо, опираясь на церковь, пребывая верной традициям и устоям, выработанным веками, российской историей.

Оставаясь самим собой, не гоняясь за преходящими настроениями в Совдепии, но тщательно их изучая, «Возрождение» идеологически сближалось с тамошними русскими людьми, исцелевшими от революционного угара, не повторявшими, подобно левой эмигрантской печати, что советская власть «все-таки наша».

Тем временем менялась внешняя обстановка, окружавшая деятельность «Возрождения» в начальные дни его существования. Не стало Великого Князя Николая Николаевича, генерала Врангеля и Кутепова, имена которых связывали эмиграцию в глазах иностранцев с Россией, с ее великой армией времен войны, белым движением, Константинополем и Галлиполи. Зарубежные русские превращались для иностранцев в беспокойную, назойливую разновидность человеческого рода, находящуюся в неоформленном ведении Лиги Наций, увеличивающую повсюду кадры безработных.

«Возрождение» наблюдало, как страны Европы и Америки проходили через период хозяйственного расцвета и тяжелых кризисов, как в Азии после бурного революционного брожения, вызванного и поддержанного большевиками, временно настал порядок, водворенный Японией. В зависимости от событий происходящих в Европе, Америке и Азии, менялись повсюду условия эмигрантской жизни; резко менялись и ус-

ловия, в которых проходила работа «Возрождения», но ничто не могло поколебать его контр-революционной, анти-большевицкой идеологии. *Менялись только его расположения и нерасположения к государствам, в зависимости от их отношений к советской власти.* Так, когда в конце 20-х годов обозначилась тесная дружба Германии с большевиками, «Возрождение» очутилось в лагере защитников Версальского договора и крайне резко критиковало и осуждало немецкую политику. Когда же немецкие творцы этой самой политики, изгнанные из Германии, воспользовались гостеприимством стран, дружественных Версальскому договору, то «Возрождение» не стало от этого к ним благосклоннее: верное своей основной задаче борьбы с большевизмом, оно не замедлило показать свое сочувствие новому германскому правительству, занявшему позицию, враждебную мировому коммунизму. Официальные французские власти не могли, конечно, одобрить такой непоколебимости «Возрождения», и их отношение к нему стало похожим на германское до 1932 года. Но ничто не в силах было поколебать решимость «Возрождения» и оно продолжало быть духовной опорой для всех подлинных русских патриотов, ставящих благо России превыше всего.

«Возрождение» знало, что рано или поздно, в тех или иных условиях, восторжествует в России и в мире элементарная государственная правда и что русская эмиграция, или хотя бы только ее символ, будет способствовать восстановлению этой правды. «Возрождение» отметило и навсегда запомнило знаменательные слова советского сановника, однажды проговорившегося: «Шпана из «Возрождения» нам не страшна; она опасна нам лишь в случае, если у нас будет война с Европой. Эмиграция может тогда стать авангардом и придать общей войне характер гражданской войны».

Если бы национал-социалистическая Германия учла в свое время справедливость подобного рода заявлений, она несомненно и легко оказалась бы победительницей. Но национал-социалистическая Германия была неспособна учесть в свое время справедливость подобного рода признаний и, по заслугам, оказалась побежденной. К величайшему прискор-

бию, Европа и Америка не понимали, да и теперь все еще не понимают, ни значения русской эмиграции, ни того, что происходит в России. К российской трагедии мир остался глух и слеп. Ни одна страна, за исключением Японии, не прислушивалась к голосу эмигрантской национальной печати.

«К стыду Европы — писал Абданк-Коссовский в своей статье, посвященной десятилетнему юбилею «Возрождения», — японцы лучше поняли страдания русского народа и ту мировую опасность, которую несет с собой большевизм, и о которой наша газета твердила в течение десяти лет. Не наша вина, если принципиальные убийцы и палачи за это время стали в цивилизованной Европе и в Америке, героями дня, желанными гостями, союзниками, друзьями, кумирами, перед которыми склонились самые просвещенные правители самых культурных стран».

«Японцы, — продолжает Абданк-Коссовский, — привлекли симпатии русских тем оправдательным приговором, который был вынесен японским судом русскому юноше Ярохину, покушавшемуся на советского представителя в Японии. Судебный процесс имел вид триумфа, устроенного Ярохину японской общественностью и властями. Японские мальчишки-гимназисты были приведены в суд слушать дело Ярохина, чтобы поучиться у русского юноши истинному патриотизму. Японские адвокаты явились в суд *in согоре*, а председатель суда так напутствовал подсудимого: «Я сочувствую вам. Я уверен, что из вас выйдет великий человек, который выступит на благо своего народа и своей страны».

Подводя итоги десятилетней деятельности «Возрождения», Абданк-Коссовский добавляет: «Борьба советской власти с эмиграцией бесполезна, эмиграция неистребима, и «Возрождение», выражающее мнение русских зарубежных людей, никогда духовно не отрывалось и от тех, кто бежал «оттуда». «Возрождение» всегда братски сливалось с ними и находило с ними общий язык — язык любви к России и ненависти к большевикам. Черты, отделяющей Россию в изгнании от России, плененной большевиками, не существует. Но «Возрождение» никогда не смешивало истинного патрио-

тизма с так называемым «советским патриотизмом», которым всегда пользовались в своих целях вожди III-го Интернационала».

Заключительные слова Абданка-Коссовского показывают, что еще задолго до второй мировой войны и ее последствий, столь тяжелых для русской эмиграции, предвидело «Возрождение», до какого убожества доведет многих из нас пропаганда советского патриотизма, предпринятая «Последними Новостями», евразийцами и младороссами. Именно в противовес этой тлетворной пропаганде, демонстративно поощряло и одобряло «Возрождение» отважные деяния Конради, Коверды и Ярохина. Вся деятельность возрожденцев была направлена на то, чтобы сохранить дух подлинного патриотизма в эмиграции, вернее в Зарубежной России, созданной великим исходом начатым русскими людьми в 1920 году и непрерывно продолжающимся до сих пор. Не к эмиграции, а к Зарубежной России обращалось «Возрождение», и прежде, чем проповедовать новую идеологию, все силы обращало оно на то, чтобы самому познать и затем в меру своих способностей разъяснить другим, национальное и, следовательно, религиозное значение российского исхода и зловещий смысл свершившейся в России и грозящей всему миру подмены всех духовных ценностей.

С первых же дней своего существования «Возрождение» старалось установить правильное понимание самого существа коммунистической власти, подменившей все, веками накопленные, духовные ценности и вызвавшей поныне продолжающийся российский исход.

Как же понимало «Возрождение» существо советской власти и в чем видело оно значение и предназначение Зарубежной России?

9.

В апреле 1926 года, на Зарубежном Съезде, состоявшемся в Париже, были заслушаны доклады Ю. Ф. Семенова и С. С. Ольденбурга. Мы постараемся сейчас, насколько воз-

можно кратко, изложить содержание этих двух докладов, развивших и дополнивших мысли П. Б. Струве о сущности большевизма и о духовном назначении русской эмиграции. Даже очень сжатое изложение, скупой конспект этих докладов, приблизит нас к пониманию некоторых основных положений «Возрождения».

В чем же сущность коммунистической власти? Этот вопрос представлял для «Возрождения» отнюдь не только теоретический интерес. От правильной постановки этого вопроса зависело для Ольденбурга и других возрожденцев сознательное отношение ко всему происходящему в России, и во всем мире.

Свой доклад Ольденбург начинает с примеров, взятых им из истории.

Когда во Франции, после войны 1870-1871 г., судили маршала Базена, сдавшего Метц и рейнскую армию немцам, обвиняемый оправдывался тем, что во Франции в то время не оставалось законной власти, перед которой он был бы ответственен.

«Император был в плену, императрица бежала в Англию, законодательный корпус был разогнан, что же оставалось делать?» И тогда герцог Омальский, председатель военного суда и член династии Бурбонов, ответил маршалу Базену:

— Сударь, оставалась Франция!

В Мадриде, в королевском дворце, сидит Иосиф Бонапарт, называемый королем Испании. От его имени творится суд и издаются законы. И, однако, испанцы ведут жестокую, непримиримую борьбу с ним и с теми, кто его поддерживает; испанцы приветствуют, как избавительницу, английскую армию, вступающую на испанскую территорию. Они видят в англичанах друзей и союзников, а не завоевателей.

В Бельгии правит германский генерал-губернатор фон Биссинг. Он в течение нескольких лет является фактическим распорядителем судеб бельгийского народа, и все бельгийские учреждения, местные самоуправления, университеты, церковные власти должны поддерживать с ним постоянные

сношения. И, однако, ни на минуту бельгийцы не считают фон Биссинга своим законным правителем.

Во всех трех случаях проявлялось здоровое национальное чувство. От того, есть ли данная власть своя или чужая, зависит и отношение к ней.

Что же такое для России нынешняя коммунистическая власть?

Никогда и ни при каких условиях интересы России и поработившего ее Интернационала не могут почитаться тождественными. То, что укрепляет Интернационал, отдаляет спасение России, и то, что ослабляет Интернационал — приближает ее спасение.

Отношение к советской власти, как к плохому, но русскому правительству означает непонимание ее существа, и отношение русских к Интернационалу следует сравнивать не с отношением герцога Омальского к правительству национальной обороны, но с тем, как испанцы относились к навязанному им Иосифу Бонапарту, или бельгийцы к германскому генерал-губернатору. Но ни Иосиф Бонапарт, ни генерал фон Биссинг не достигали, конечно, даже и в малой доле, той зловредности, воплощением которой является господствующая над Россией коммунистическая советская власть.

Составные части нынешней мировой коммунистической партии формировались в расплывчатых пределах социалистических партий II-го Интернационала. Война 1914-1918 г. поставила эти партии перед вопросом: что существеннее — идейно-политическая (на социалистическом жаргоне — классовая) солидарность, или же солидарность общенациональная. Ответ партий был один: национальная, и на время войны II-й Интернационал отошел как бы в небытие. Но во всех социалистических партиях, и более всего среди русских социалистов, за долгие годы их заграничного существования совсем оторвавшихся от собственной родины, нашлись люди, для которых учение о классовой борьбе и международной солидарности «пролетариев» (фактически — левых социалистов) было неизмеримо важнее национального чувства, у них атрофированного.

Некоторые наиболее зоркие главари социалистического течения сразу угадали, что мировой войной можно воспользоваться для революционных дел. Они задались целью превратить империалистическую войну в гражданскую.

Все помнят ход русской революции. Народные толпы, желавшие мира, бессильная временная власть, презренная, лишенная энергии и инициативы, неумевшая ни вести, ни кончить войну... Таким положением воспользовались представители международной социалистической секты, имевшие большие связи в русских революционных кругах. При благосклонном содействии германских властей, полагавших в своем ослеплении, что мировая разрушительная сила, пущенная в действие, остановится у границ их страны, будущие руководители III-го Интернационала проникли на нашу родину.

Советы и съезды Советов были только внешней формой для установления господства коммунистической партии, по своим воззрениям последовательно интернациональной. Эта партия всегда считала и будет считать, что не только религия, но и все вообще национальное есть нечто, подлежащее преодолению. Для нее государства представляются случайными, уродливыми объединениями людей, подлежащими растворению в единой мировой и интернациональной государственности.

Для руководителей коммунистического международного движения, понятия Родины и Нации не существует и никогда существовать не будет.

Может ли власть, на монопольных началах принадлежащая к интернациональной коммунистической секте, почитаться за национальное правительство в каком бы то ни было государстве?

Такая власть будет всегда рассматривать территорию, над которой она господствует, только как временный опорный пункт.

Мировая коммунистическая партия, наиболее организованной и влиятельной частью которой сейчас являются коммунисты, собравшиеся на территории бывшей Российской

Империи, есть в отношении России *внешняя сила*, а не русское национальное (хотя бы и скверное, жестокое, варварское) правительство.

Коммунистическая интернациональная партия, захватившая власть в любом государстве, пребудет всегда по отношению к нему внешней силой. Не понимать, не видеть, не слышать этого, после русского опыта, могут только добровольно слепые и глухие.

Советская власть (псевдоним диктатуры коммунистов) упразднила самое имя «Россия»; она разбила Союз Советских Социалистических Республик на штаты, в которых искусственно культивируются местные наречия и вытраивается прежняя российская общегосударственная спайка. Этим большевики преследуют двоякую цель: уничтожение русской национальной государственности, традиции которой ей глубоко ненавистны, и привлечение симпатий некоторых слоев населения. *Противоречие интернационализма и «выращивания» мелких народностей — только кажущееся: малые народности не могут подняться до сильной национальной государственности, которая могла бы стать опасной интернациональному центру, и потому «несознательным элементам» позволяют тешиться собственными наречиями, как игрушкой.* Коммунистическая власть почитает одной из своих задач не оставить от былой России камня на камне, сдать самую память о ней в музеи и архивы.

Власть антинациональной секты для России губительна и отвратна. Коммунистическое иго внешне менее заметно, чем скажем, иго татарское, ибо коммунист говорит на том же языке, и сопротивление вызванному большевиками разложению требует большей сознательности, нежели противодействие простому иноземному засилью.

Если коммунистическая власть, *по своему существу*, по своему замыслу, не может считаться национальным правительством, может ли она им стать со временем путем «перерождения центра». Иными словами, возможно ли то, что называется «эволюцией большевизма»?

Суть данного вопроса в том, *изменяется ли направление*

воли коммунистической власти, или же она делает только внешние уступки необходимости, с твердым намерением взять их обратно при более благоприятных условиях. Внешние уступки никак нельзя назвать «эволюцией» советской власти.

Между тем, все заявления коммунистических главарей свидетельствуют о том, что *направление воли властителей красной Москвы остается прежним.*

Но, кроме идейной твердокаменности интернационально-коммунистических верхов, от эволюции предохраняет большевиков *простой инстинкт самосохранения.* Без идейной спайки, без притока сил извне, большевицкая партия рискует *потерять себя,* утратить то единство воли, которое дает ей господство над огромной враждебной российской стихией. Утратив *веру коммунисты* утратили бы и *власть.*

Мировая коммунистическая партия, называющая себя III-м Интернационалом, стремится к мировому господству. Она желает стать международной олигархией и всюду, как в советской России, осуществить свою диктатуру от имени «*трудящихся масс*». Для этой цели она стремится укреплять свою базу, развивать свою организацию, разлагать противников и находить попутчиков.

Работы над осуществлением некоторых из этих задач имеют внешнее сходство с национальной политикой нормального государства. Стремление расширить пределы своего господства и присоединить к себе одну страну за другой можно условно назвать *красным империализмом.* Это, несомненно, самый алчный из всех империализмов, так как он имеет своим объектом — всю землю.

В первую очередь, по линии наименьшего сопротивления, он обращается на территории, входившие в состав Российской Империи. Поэтому возникло *нелепое, в корне ложное представление,* что будто большевики *воссоединяют Россию, защищают русские национальные интересы,* когда, например, заявляют притязания на Бессарабию, Сахалин и т. д. Но падение той или иной бывшей русской провинции под власть III-го Интернационала отнюдь не означает ее присоединения

к России. Включение Бессарабии в состав «Молдавской советской республики», рассчитанное на дальнейшее продвижение в пределы Румынии, ни в какой мере не могло бы считаться русской национальной победой. Но большевики искусно улавливают попутчиков, внушая всем, что они защищают интересы России — той самой, которую они так планомерно разрушают.

Успехи Союза Советских Социалистических Республик — III-го Интернационала — мировой коммунистической партии — успехи не России, а злейших ее врагов.

По своей интернациональной природе коммунистическая власть угрожает *всем государствам*, и только временно сосредоточивает усилия то на тех, то на других, стремясь найти себе попутчиков в лице врагов той или иной страны. Поэтому такую тревогою исполняется III-й Интернационал, когда среди других держав намечаются мирные способы разрешения противоречий. Франко-германский антагонизм был всегда крупным козырем в коммунистической игре.

Владея ресурсами большой страны, мировая коммунистическая партия имеет возможности, о которых доселе не могла мечтать никакая революционная организация. Дипломатическая неприкосновенность, многомиллионные фонды, унаследованные от прошлого, готовые убежища для бунтарей всех стран — какая невиданная, какая угрожающая картина!

Мировая коммунистическая партия является международной опасностью, международным злом, в борьбе с которым в первую очередь, конечно, заинтересована Россия, но *борьба эта едва ли менее существенна и для других государств.*

Борьба с советской властью не есть борьба с Россией, а, наоборот, борьба с ее злейшим врагом. Сопротивление международному злу должно вестись в международной плоскости.

Вот в высшей степени краткая сводка того, что думало «Возрождение» о существовании коммунистической советской власти. Ныне, по прошествии тридцатилетнего срока, политиче-

ские мнения, высказанные «Возрождением», не только не устарели, но стали еще более угрожающе злободневными. Страны Европы и Америки по-прежнему не хотят считаться с мнением национальной части русской эмиграции, истинным выразителем которого и было, своевременно не услышанное иностранцами, «Возрождение». А между тем, оно говорило, оно кричало, оно пыталось доказать и показать всем, что русская эмиграция совсем не безымянное беженство, не безликое сборище апатридов, живущее скудными милостынями Лиги Наций, а подлинная, духовная существующая национальная Россия, силою обстоятельств перенесенная за собственные территориальные границы, но не ставшая от этого менее реальной величиною. Русская эмиграция, — внушало всем «Возрождение», — есть фактически не что иное, как Зарубежная Россия, с которой рано или поздно надобует считаться, к которой рано или поздно, надо будет обратиться за советом — как разрешить, по-видимому, неразрешимую, российскую, а следовательно и мировую, задачу.

Необходимо, наконец, всем понять и запомнить, что кажущееся ничтожным русское «беженство», русское «рассеяние», на самом деле представляет собою великую энергию, невидимо, но от этого не менее реально, сочетающуюся с энергией, накопленной *внутренней* эмиграцией за долгие годы ее сидения в советских тюрьмах и лагерях.

Всем давно пора бы знать и навсегда запомнить неопроверженную истину: *на задворках жизни, в ее забытых закоулках, вырастают силы, меняющие судьбы мира.*

Настанет день, и загнанный на задворки мировыми дипломатическими умниками, русский беженец окажется «гвоздем сезона», «ведеттой», спасителем от мировых коммунистических бед и зол.

Но что же такое представляла и представляет собою русская эмиграция? Мы приведем сейчас крайне сжатое изложение всего сказанного на эту тему Ю. Ф. Семеновым, говорившим от лица «Возрождения» на Зарубежном Съезде в 1926 году. Ныне, спустя тридцать лет, слова Семенова не только не потеряли своего значения, но, в связи с происходя-

щими и заново назревающими событиями, стали еще более существенными, важными, злободневными.

10.

Что же, по мнению Семенова, по мнению всего «Возрождения» в целом, представляла и представляет собою русская эмиграция? «Она составила из очень разнообразных элементов. Часть русской эмиграции не имела вначале никакой политической физиономии, она покинула Россию заранее, в предвидении грядущих бед. Затем шли беженцы, вытолкнутые из России уже в борьбе с большевиками. В общей сложности эмигрировало нас до полутора миллиона людей, самых разнообразных классов и профессий, людей, принадлежащих к наиболее культурным слоям населения России.

В первое время мы были всего лишь беженской массой, вынесшей с собою паническое настроение, страх за будущее и сплошное горе, испытанное в прошлом. Все поневоле рассчитывали на чужую благотворительность. Но постепенно совершился переход на трудовое положение, произошло расселение по всем странам земного шара. Переход на трудовое положение был в то же время и переходом из собственного беженского состояния в состояние политической эмиграции, ибо те русские люди, которые не захотели вернуться в Советскую Россию, не захотели признать над собою большевицкого ига, предпочитая тяжелый труд и несправность на чужбине, тем самым совершили политический акт протеста против господства III-го Интернационала в России.

В то же время происходило постепенное собиранье эмигрантов в мелкие и крупные сообщества. Создавались организации церковно-приходские, бытовые, профессиональные, сословные, классовые, академические, политические.

Таким образом, из вчерашних беженцев образовалась совершенно особая «народность», разбросанная по разным странам, не имеющая своей территории, но спаянная внутренней, духовной спайкой; несправная по отношению к стра-

нам, в которых она живет, но выработавшая какое-то свое новое право, не управляемая никем и ничем, но имеющая внутри себя какие-то органы управления, ни от кого не зависящие и никем не назначенные, но в известной мере признаваемые и внутри, и во вне.

Эта организованная народность стала создавать свои школы—низшие, средние и высшие, свои церковные приходы, свои газеты, книжные издательства, театры, промышленные предприятия, общественные и политические организации. Она участвовала в некоторых странах, как, например, на Балканах, в создании местной культурной жизни и подавала свой голос на различных международных конференциях, хотя никто ее на эти конференции не приглашал.

Во внутренней, духовной жизни русской эмиграции происходила и будет происходить большая и разнообразная работа.

Постепенное объединение русской эмиграции в мелкие и крупные организации, нередко боровшиеся и борющиеся между собою на почве исключительно идейной, породила во всех эмигрантах *стремление* к какому-то единству, не только внутреннему, но также и внешнему, формальному.

Вот это-то стремление к воплощению внутреннего единства в нечто внешнее, формальное, и следует называть Зарубежной Россией, убежденной в невозможности какой бы то ни было эволюции советской власти и полагающей, что освобождение нашего отечества от большевиков возможно только насильственным способом.

Процесс образования Зарубежной России показал, что русская эмиграция обладает в целом большими жизненными силами, и эта ее жизненность связывает ее с внутренней Россией.

Несмотря на внешние преграды, русская эмиграция связана со своим отечеством такими кровными и духовными узами, которые позволяют Зарубежной России, с полным правом и без всяких колебаний, говорить с внешним миром от имени России вообще.

Уйдя за-границу, Белая Армия и все те, кто были с ней и ее поддерживали, принесли с собою тот дух борьбы с большевиками, который теперь окончательно овладел всем русским народом. Белое движение и затем крестьянские и рабочие восстания суть два вида одного и того же всенародного отрицания большевизма.

Итак, Зарубежная Россия и внутренняя Россия наполнены одним и тем же духовным содержанием. Русская эмиграция имеет неоспоримое право говорить с миром от лица российской нации.

Каковы бы ни были раздоры между различными политическими течениями внутри эмиграции, как бы ни были велики эти раздоры и какие бы формы они ни принимали, русская эмиграция, разбросанная по континентам и островам земного шара, говорит и будет говорить всему миру, что власть коммунистической партии, именуемая властью советской, — не русская власть, что задачи ее антигосударственные, разрушительно революционные, что разрушительные действия этой власти направлены против всех государств и что, наконец, желание искусственно представить ее себе в качестве национального русского правительства есть самообман и обман, который всегда разоблачается и будет разоблачаться самими же большевиками.

Советская власть чужда России; она вышла из III-го Интернационала, который отрицает все вообще национальные государства. На этот русская эмиграция давным давно согласилась с Россией внутренней. Эмиграция говорит от лица русского народа, ибо потрясенный, разрозненный, лишенный свободы слова, свободы собраний, он не имеет возможности выразить, что и как он думает о своем собственном будущем. *Наша эмигрантская жизнь за-границей и опыт, приобретенный нами во время революции, обогатили нас таким знанием жизни, какими едва ли когда-либо и кто-либо обладал.* Поэтому для тех, кто в России ждет падения советской власти, необходимо знать, что и как думает эмиграция.

Там, во внутренней России, знают, что когда мы, эмигранты, прошедшие суровую школу трудовой жизни в Евро-

пе, Америке и Азии, изучившие всякие ремесла и всякие специальности и обогатившие свой ум своим и чужим опытом, вернемся на родину, то как бы там к нам ни относились и что бы о нас ни думали, мы сумеем во всех областях государственной жизни приложить свои знания, проявить творчество, завоевать себе положение.

Нам нечего бояться так называемых раздоров политических внутри эмиграции. В живом человеческом обществе не может быть единогласия. Пусть все мы разные, пусть каждый из нас по своему смотрит на мир, на будущие судьбы России, на формы ее государственного устройства. Чем сознательнее мы скажем, признавшись в наших разногласиях, что мы едины в стремлении к одной общей задаче сегодняшнего дня, а именно к изгнанию коммунистического интернационала из России и уничтожению этой международной организации, тем большее значение будет иметь это наше единство.

Мы должны повторять всему миру, что с коммунистическим интернационалом никаких сговоров быть не может, что между большевиками и миром идет война неумолимая, ни на минуту не прекращаемая и повсеместная; что она ведется со стороны коммунистов то с оружием в руках, то пропагандой и агитацией, то клеветой и развратом, то биржевой игрой, то лживыми международными переговорами; что при этих условиях всякие разговоры о пресловутой эволюции большевиков суть выдумки или самих большевиков, или предателей, действующих в рядах их противников или же, наконец, людей безумных.

Зарубежная Россия существует. Каждый должен ежедневно спрашивать себя, выполняет ли он свой долг по отношению единства духа Зарубежной России. Русская эмиграция должна проникнуться настроением, господствовавшим в таких организациях, как, например, рыцарские ордена. Все должны считать себя связанными общим обетом и, живя будничной жизнью рабочего, шофера, банковского служащего и т. д., каждый должен знать и помнить, что не может не быть он воином за великое дело России.

И пусть каждый считает именно себя самого обязанным служить этому делу и не ожидать чудес.

Нужно бороться не надеясь на немедленный успех, и тот, кто способен дать длительное напряжение, без надежды на немедленный результат, тот всегда пожнет в конце концов плоды своих усилий».

Так говорил Ю. Ф. Семенов на Зарубежном Съезде, призывая всех оставить партийные счета. И этот призыв навсегда начертало «Возрождение» на своем знамени.

Зарубежный Съезд, на котором выступали со своими докладами Ольденбург и Семенов, был создан и созван, главным образом, по почину издателя и первого редактора «Возрождения». Съезд открылся 4-го апреля 1926 года в Париже. Его открытию предшествовала долгая и сложная подготовительная работа, идеологическая и техническая.

Одно уже то, что в невероятно трудных условиях нашего бесправного рассеяния съезд действительно состоялся, показывает, как велика была тяга к духовному единению у национальной части русской эмиграции. Но святую волю к единению проявило лишь ядро Зарубежной России — непосредственные участники гражданской войны и их окружение, а совсем не политиканствующая плесень, образовавшаяся еще в дореволюционные времена и теперь в изгнании, паразитарно приросшая, справа и слева, к несчастному эмигрантскому телу. Этот губительный нарост, эта смертоносная накипь, подточившая и обрушившая величайшую в мире Империю, продолжала и здесь, в зарубежье, считать себя солью земли, эмигрантской элитой.

Искренно раскаявшийся в своем политическом прошлом, Н. Н. Львов, в речи, посвященной Зарубежному Съезду и напечатанной в «Возрождении», напрасно призывал старых политиканов отречься от прежних партийных делений и заблуждений, объединиться и обратиться к Великому Князю Николаю Николаевичу с просьбой возглавить дружное всеэмигрантское движение. Призывов Львова, Струве, Семенова, Ольденбурга, призывов всего «Возрождения» в целом, Марковы, Керенские и Милюковы не захотели расслышать, они

упорно пытались взорвать, извне и изнутри, дело Зарубежного Съезда.

За полтора месяца до открытия Съезда Н. Н. Львов обратился ко всему русскому зарубежью с речью, напечатанной в издававшемся в Белграде «Новом Времени» и сочувственно воспроизведенной «Возрождением»:

«К единению и миру, — говорил Львов, — призывал нас Великий Князь; ради блага России надо пожертвовать всем. В то время, когда наши общественные верхи продолжали междоусобную борьбу, низы инстинктивно тянулись к миру, к объединению. Помочь проявиться этой воле наших низов, побороть старорежимную психологию партийных верхов, раз навсегда положить предел разброду — в этом задача Съезда».

Конечно, лишь в насмешку называл Львов старых политиканствующих интригантов «общественными верхами» русского зарубежья, а ядро эмиграции — «низом». Но практически, житейски, он все же выражался точно, ибо, к величайшему прискорбию, истинная духовная эмигрантская элита работала по фабрикам и заводам, а верховодили ею по-прежнему старорежимные правые и в особенности левые крикуны и интриганы.

Изобличая «верхи» и приветствуя «низы», Н. Н. Львов, вслед за Струве, вслед за «Возрождением» в целом, указывал на глубоко аномальную обстановку, в которой проходила в те годы, да и теперь проходит, жизнь Зарубежной России, по существу духовно здоровой, но во всех своих проявлениях стесненной самозванными водителями.

«Что мы видим! — восклицает Львов, — тяжело об этом говорить, но нужно честно рассеять тот туман, которым покрыт вопрос о Съезде. Единение разрушалось с двух сторон — левыми и правыми. Правые хотели взять Съезд в свои руки, а левые стремились сорвать его... «Великий Князь дал нам либеральную программу, а здесь, в Белграде, коробит людей от слова «правовое государство». Ужас, если все это будет перенесено в Париж. Засилие какой-нибудь одной политической группы есть провал Съезда. Время безличных программ и деклараций прошло. Программа без лица — пус-

той звук. Нужен моральный авторитет, и мы получаем его в лице Великого Князя».

«Ужас», которого так боялся Львов, на Съезде несомненно совершился; все же, вопреки опасениям, он оказался уже не столь ужасным. Правда, все заседания Съезда проходили под дикое улюлюканье «Дней» Керенского и «Последних Новостей» Милюкова; правда, так называемые «зубры» пытались завладеть «полезным начинанием», придать ему партийный, славянофильский, истинно русацкий разудальный характер и, упразднив Великого Князя Николая Николаевича с его «чрезмерно либеральной программой», провозгласить за рубежом своего царя, верного носителя замоскворецких традиций. Однако, благодаря именно Зарубежному Съезду, удалось неопровержимо установить, что эмигрантское ядро не только живо, но и жизнедеятельно, и что приставшая к нему слева и справа старорежимная шелуха со временем сама собою отвалится.

«Возрождение» безошибочно и сразу учуяло на Съезде биение эмигрантского пульса, открыто приветствовало здоровое ядро Зарубежной России и, помогая ему словом и делом освободиться от политиканствующей паразитарной клики, явилось поистине передовым и прогрессивным печатным органом российской национальной мысли.

Во главе Зарубежного Съезда встал первый редактор «Возрождения». Еще за несколько месяцев до Съезда, определяя его задачи Струве писал:

«Зарубежный Съезд окружен трудностями, которые не следует преуменьшать. Главная из них состоит в том разъединении, которое политические партии и в частности и в особенности партии левые сеяли и продолжают сеять среди зарубежных русских неприемлющих советской власти. В этом отношении разлагающая пропаганда левых уже принесла огромный вред, и прямо, и косвенно.

Но и помимо этой пропаганды, не так легко провести объединение. Нужна ли для этого какая-либо подготовительная программа?

Если возможно объединение на какой-либо положитель-

ной программе или платформе, то оно желательно. Если такое объединение невозможно, то необходимо объединиться хотя бы на основе категорического неприятия коммунистической власти и решительной борьбы с III-м Интернационалом.

Зарубежный Съезд должен психологически и организационно проложить путь объединению *активных патриотов*. В устремлении к внутренней России заключается мерило того, что может и должно быть предметом суждений и решений Съезда. Он должен обнаружить единый дух и единую волю в борьбе с III-м Интернационалом, создать объединение воле, единый волевой центр, и избрать исполнительный орган, дав ему широчайшие полномочия.

Цель Зарубежного Съезда создать внепартийное, надпартийное, сверхпартийное — назовите, как хотите, — объединение. Мы не желаем партий и партийного засилья. Таково первое условие, диктуемое нам всей той обстановкой, в которую мы вдвинуты железной рукой истории.

Как бы ни относиться к тому, что произошло на нашей родине, как бы ни клеймить ту ложь и неправду, которой запечатлена революция, нельзя отрицать, что в России произошли огромные социальные и экономические изменения. Но Россия отвергает коммунизм и социализм, и мы должны ясно и твердо, без недомолвок, сказать, обращаясь к нашему отечеству, что мы за *установление собственности, но не за восстановление или возврат собственности. Ибо не только с лозунгом, но даже и с задней мыслью о возврате собственности нельзя идти в Россию.*

Наша задача не есть восстановление чьих-либо прав и преимуществ, а возрождение Великой Национальной России. И даже, если бы кто-либо из нас хотел, более того — считал справедливым возврат имущества и вознаграждение за нарушенные права, — он все-таки должен отбросить личные интересы, подавить, обуздать свое законное чувство права, ради великой национальной цели. Мы должны быть слугами и орудиями великой исторической национальной задачи *Воссоединения и Возрождения.*

Мы хотим, чтобы Россия была восстановлена на твердом основании Права и Прав, в духе правовой государственности. Но для действенного национального объединения сейчас необходимы живые лица, в которых может сосредоточиться авторитет, которые воплощают в себе надежды и чаяния Зарубежной и Внутренней России. Таким лицом является Его Императорское Высочество Великий Князь Николай Николаевич. Он, будучи лицом Царского Корня, не претендует на престол, он — Вождь. Я не делаю здесь никакой пропаганды Великому Князю. Я описываю факт, я отмечаю то, что делается в душах многих и многих русских людей.

Великий Князь есть символ Великой Национальной России. С этой великой национальной ценностью надлежит обращаться с величайшей осторожностью, памятуя, что преступно превращать ее в партийный лозунг и игральные страсти».

Итак, «Возрождение», ссылаясь на чаяния всех истинных русских патриотов, призывало нас объединиться вокруг имени Великого Князя Николая Николаевича, потому именно, что он не претендует на престол, а символ национальной России. Теперь нет в живых ни Великого Князя, ни генералов Врангеля и Кутепова, приглашавших нас следовать за ним, нет и прежнего «Возрождения». Но идеи и символы не умирают, они по-прежнему с нами, они навсегда, благодаря «Возрождению», запечатлелись в нашей душевной глубине. Наперекор партийным интригам, паразитарствующим старорежимным политикам правого и левого толка, Зарубежный Съезд, проповеданный и осуществленный «Возрождением», принес свои плоды. И ныне, через целых тридцать лет, и каких тяжких, переполненных горестным опытом лет, — мы, Россия зарубежная, обращаясь к России внутренней, можем лишь повторить заключительные слова воззвания Зарубежного Съезда:

«Мы хотим только того, чего хотите и к чему стремитесь и вы. Мы хотим, как и вы, чтобы все прежние распри и обиды были забыты. Мы хотим, чтобы справедливый закон и неподкупный суд охраняли покой и достояние мирного труженника.

Когда же будут сброшены оковы насилия, — там в сердце России, будет установлен строй возродившегося великодержавного Российского Государства. Да будет наша вера простой и ясной. Коммунизм умрет, а Россия не умрет. Этою верою мы победим.»

Главная заслуга организованного «Возрождением» Зарубежного Съезда состоит в том, что он навсегда прекратил, или по крайней мере должен был прекратить, всяческие толки о реставрационных мечтаниях, якобы, присущих русскому эмигрантскому ядру. В этом историческое значение Съезда, иностранцами не отмеченное.

«С чувством смирения, а не самодовольства — говорил Струве в своей заключительной речи при закрытии Съезда, — должны мы установить, что несмотря на трения, мы были объединены в общей большой работе.

Что нас объединяет и будет объединять? Прежде всего мысль о России. Мы сказали, что все взоры наши обращены туда — к России, что мы не эмигранты, а те же сыны Великой России, неразрывно связанные с Матерью-Родиной, которой мы живем и к которой мы тянемся.

Объединяет нас и тот, которого мы здесь так часто называли. Объединяет нас Вождь. Не мы провозгласили и не мы провозглашаем Вождя. Мы прислушались к более сильному голосу, мы признали, что Национальная Россия хочет Вождя, и во всеуслышание объявили об этом. Это гораздо существеннее нашего Съезда, чтобы в дальнейшей работе сойтись на деле борьбы.

Да здравствует Великая Национальная Россия!

Да здравствует Национальный Вождь!

Да здравствует наше согласие!»

11.

Многие русские эмигранты и многие из непосредственных участников Зарубежного Съезда, принадлежавшие к крайне правым группировкам, требовали, чтобы немедленно был создан Съездом исполнительный орган безоговороч-

но подчиняющийся единоличным распоряжениям Вождя, Великого Князя Николая Николаевича. Такое требование ничего не забывших и ничему не научившихся людей в корне противоречило желанию самого Великого Князя, ожидавшего от Съезда, прежде всего, свободных обсуждений, свободного голосования и свободных постановлений. К неосмысленному требованию правых присоединился, к сожалению, даже такой крупный военный и государственный деятель, как генерал П. Н. Краснов.

Возражая казачьему Атаману, а с ним вместе и всем правым, Струве, уже по закрытии Съезда, писал в «Возрождении»:

«Ведь надо же вдуматься в то вреднейшее и ни с чем несообразное толкование, которое дается Красновым и его единомышленниками прекрасной самой по себе идее «безоговорочного подчинения». Русские люди посылают избранных ими людей на совещание, а когда спрашивают мнение этих людей, налицо один ответ: «мы мнения не имеем, мы безоговорочно подчиняемся! «Какую цену имеют такие «мужи совета» для Великого Князя? Ведь надо же понять, что если бы налицо было определенное решение, «приказ» Великого Князя, — то бессмысленна и не допустима была бы процедура обсуждения, а тем более голосования. А раз воле Великого Князя отвечало обсуждение и голосование вопроса, то именно *правильно понятая* идея безоговорочного подчинения повелительно предписывала: обсуждать и решать этот вопрос свободно, по существу, *по совети*, не руководствуясь никакими внешними соображениями...

Софистику безоговорочного подчинения нужно раз и навсегда бросить, когда дело идет о *совети* и общественномговоре. Когда-то, на нашей всех памяти, казарму развалили, принеся туда приемы общественности, заменяя безоговорочное подчинение совещаниями и голосованиями. Боже упаси сделать обратную ошибку — в дело общественности внести дух казармы!

Когда дело дойдет до «дела», тогда настанет время судить о том, кто окажется способным «безоговорочно подчиняться». Пока же дело идет о совете и общественном об-

суждении — формула безоговорочного подчинения не имеет никакого содержания, кроме демагогического.

Эмигрантская масса от Съезда ждала чудес. Она жила иллюзией, что вот соберется Съезд и сотряснутся стены Красного Кремля. Эти иллюзии сосредоточились вокруг исполнительного органа: «создадим орган — и начнется новая, решительная фаза борьбы с большевиками».

Мы имеем мужество смело и открыто разбить эти иллюзии и весь одиум этого акта принять на себя. Мы не потому «провалили» исполнительный орган, что хотели помешать «спасению России», мы хотели всего лишь помешать тому, чтобы попытка спасти Родину с явно негодными средствами была привязана к имени и личности Великого Князя и чтобы крушение этой попытки хоть как-нибудь коснулось самого Великого Князя.

Это нужно понять».

Но именно этого-то никто и не понял. Предельную осторожность, крайнюю политическую деликатность, проявленную «Возрождением», мало кто оценил. А между тем более всего боялось оно партийности, программности, демагогических выкриков и решений, грубо подчеркнутых казарменных требований реставрации, способных только надолго компрометировать самую идею монархии. Да, конечно, коренными возрожденцами, начиная со Струве и Семенова, владела монархическая идея, но как же далеко отстояли они от лубочной пропаганды, проводимой партийными монархистами вроде Маркова и Крупенского! О самом существовании монархической идеи прекрасную речь произнес на Съезде постоянный сотрудник «Возрождения» И. А. Ильин. Он, по верному определению Ренникова, говорил «о просветленном мыслью, очищенном, освященном правдой, освобожденном от сектантской партийности монархизме».

«Делать из монархизма партию, — говорил Ильин, — это значит унижать монархическую идею, прикрывать лубком ее красоту».

Но старорежимные возглавители монархической партии, фигурировавшие на Съезде, не разделяли мнений Ильина и за многочисленными речами партийных монархистов

нельзя было, по свидетельству Ренникова, «различить образ будущего царя и вместо царской короны мелькали боярские шапки Мстиславских и Шуйских».

Со дня Зарубежного Съезда прошло 30 лет, но еще очень многие русские монархисты не научились понимать, что идея монархии не терпит никакой партийности, в том числе и монархической. Именно потому Российские Венценосные Носители этой идеи, включительно до Императора Николая Первого, одинаково не жаловали ни правых, ни левых политиканствующих сектантов.

По закрытии Зарубежного Съезда, долго обсуждались «Возрождением» его удачи и неудачи. И нужно сказать, что вывод, сделанный «Возрождением» из приобретенного опыта, был верен и глубок. Все без исключения старорежимные партии, правые и левые, обнаружили на Съезде и по поводу него свое неразумие, свою внежизненную теоретичность, свои думские навыки, слишком часто несогласованные с элементарными правилами чести. С говорливых уст представителей этих старорежимных партий то и дело срывалось «слово гнило», от которого предостерегает нас Писание.

Но насколько оказались несостоятельными эмигрантские самозванные «верхи», настолько же проявили свою жизненность «низы» — истинная элита Зарубежной России. Непосредственные участники гражданской войны, повстречавшиеся лицом к лицу с суровой действительностью, вынесли из этой встречи, хотя умом и не проверенное, но глубокое чувство государственности, возродившуюся в борьбе любовь к российскому величию, безнадежно утраченную русскими партийными людьми. К этим истинным борцам за российскую государственность, поправную политиканствующими сектантами, и обращалось «Возрождение», умудренное на Съезде горьким опытом.

Главная заслуга Съезда была в том, что в спорах и столкновениях он невольно произвел нужный отбор, изблещил отживших и спаял живых. И вот, обращаясь к живому ядру Зарубежной России, стали вырабатывать возрожденцы новую идеологию. Съезд показал, что еще рано было говорить об исполнительном органе, что еще не выработалась,

не поступила в сознание и потому не оформилась словесно новая, вернее сказать *обновленная* российская государственная идея. Пребывая в сердцах, но не в умах, эта идея искала и не находила своего сознательного выражения. И уж никак не могла она проявиться на Съезде: ее заглушали выкрики старых партийных монархистов, сторонников реставрации. Тщетно взывал Струве в «Возрождении»:

«Съезд должен дать картину единения вокруг Вождя и отогнать призрак «реставраторства». Большевики только и мечтают о том, чтобы можно было истолковать постановления Съезда, как реставрационные вождедения.

Великий искус предстоит членам Съезда: не соблазниться видимостью «парламента» и помнить, что ни у них, ни у кого другого нет принудительной власти и что их единственная и *задача и возможность* — провозглашение идей и призывы сплотиться вокруг воплощающих их людей и лиц».

Но крайне правые группировки предпочли не считаться с предупреждениями Струве и придали заседаниям Съезда поистине трагикомический оттенок тем, что именно они, ненавистники каких бы то ни было парламентов, показали себя яркими парламентариями, стремящимися, хотя бы призрачно, провести путем голосования свои реставрационные постановления.

Однако, непосредственные участники гражданской войны, — подлинное живое ядро Зарубежной России — отворачивались равно, как от левых, так и от правых партийных группировок. Они, подобно лучшим людям Внутренней России, хотели встать под знамя Вождя, символизирующего собою великое национальное прошлое нашего Отечества. Плохо ли, хорошо ли, но Русь и Россию созидала одна лишь великокняжеская, самодержавно царская, и императорская надпартийная власть, всегда приветствовавшая так называемое здоровое «общественное мнение» и не терпевшая никакой политической, хотя бы и монархической партийности.

Бывшие участники гражданской войны тяготели к восстановлению в России надпартийной императорской власти, но чувствовали при этом, что прямолинейная реставрация была бы губительна, что монархию в России можно восста-

новить теперь только через обновление Имперской Идеи, утраченной правящим слоем в последние десятилетия перед революцией.

Прямолинейная реставрация привела бы нас к непрочному возобновлению погубившей Россию, ущербной, туземной монархии славянофильского толка.

Бывшие участники гражданской войны обладали здоровым государственным инстинктом. Они не пошли вслед за партийными старорежимными правыми и решительно отмежевались от злостной реставрационной пропаганды ведомой Марковым и Крупенским. Живое ядро Зарубежной России вынашивало в себе неосознанно иную идею и ощупью, инстинктивно, искало и не находило ее сознательного словесного выражения. *Эту иную, старую, но мучительным опытом обновленную идею суждено было выразить «Возрождению», и в этом его главнейшее неумирающее значение.*

О пересмотре идеологии, о ее насущной для нас необходимости, первым на страницах «Возрождения», еще в 1925 году, заговорил И. А. Ильин. Мысли, высказанные им по этому поводу, так верны, глубоки и значительны и так важны для нашей темы, что требуют от меня по возможности подробного изложения.

«Волевые, героические натуры понимали, — писал И. А. Ильин, разумея начальную фазу русской революции, — что шайтаны погубят Россию, громко говорили об этом, пытались бороться и оказывались в одиночестве. Спасительное, наступательное противодействие не возникало, не крепло: *направо не верили, налево не давали денег, не шли, не помогали* (курсив мой — Г. М.) ... И шайтанская стихия победила; она нашла своих «вождей», развернулась и осуществила свои вождедения.

Тем самым на всех нас была возложена великая задача — пересмотреть свои силы, свой духовный уклад, свою идеологию»...

«... Что соблазняло нас в шайтанство? Что побуждало нас непротивленчески требовать для его злодействования — свободы? Что побуждало нас расшатывать обуздывающие

его силы?.. Куда же годилась наша *противогосударственная «правизна»* и *безгосударственная «левизна»*?

Констатирование беды пробуждало чувство ответственности; чувство ответственности открывало вину, — во-первых, общую, совокупную вину, и, во-вторых, многое множество индивидуальных вин, для каждого свою. Из глубины этого чувства рождалась готовность признать свое нравственное и политическое *несовершеннолетие*, сесть на ученическую скамью, принять новый, трагически даруемый духовный опыт, принять его по большому, по главному, связаться с ним на жизнь и на смерть, довести его до честной мысли, до храброго слова и поступка — и тем выдвинуть *новую идею*, которая может оказаться по существу не новой, а древней, и только нам открывшуюся по новому».

«Надо понять раз и навсегда, — продолжал И. А. Ильин, — что революция пришла *не случайно*; что ее бактерии размножились в благоприятной среде наших болеющих душ, что победить революцию надо прежде всего *в нас самих*, что во внутренней России это достигается по большей части медленным, пассивным изболеванием; и что только Зарубежной России дано и задано выполнить это очищение в свободном, активном напряжении духа. Надо понять этот закон во всей его строгости: *на сменовеховство обречены все, неспособные очиститься и умудриться. И не безразлично ли, когда это свершится... Ведь качество революционной стихии не меняется и не эволюционирует. И болото ее будет засасывать и опозоривать слабых людей до самого конца.*

«Правые» соблазнялись «силой» революционной власти, беззастенчивостью ее требований и экзекуций, «левые» соблазнялись «демократичностью» революционной политики, шумом и треском ее массовых инсценировок, мнимой «самодетельностью народа». Соблазн был непосилен и для тех и для других, ибо правые так и умрут, не поняв, что «сила» сама по себе ничего не обеспечивает и не спасает; а левые так и умрут, до конца воображая, что массовая шумиха есть сама по себе драгоценное достижение... И именно потому, что те и другие только и способны жить с вывихнутым политическим разумением и будут до конца идеализировать его,

они до конца будут склонны узнавать черты своего лица в гримасах и харях советской власти...» «С самого начала революции, справа и слева образовались кадры лиц, поставивших себе в особую добродетель — способность ничему не учиться и ничего не забывать. Всякое идеологическое искажение и обновление они отвергали с негодованием; их недуг стал их символом веры; это были идолопоклонники своих заблуждений». (Курниев мой Г. М.)

Так писал И. А. Ильин в «Возрождении» за несколько месяцев до Зарубежного Съезда, обнаружившего перед всеми полнейшую несостоятельность и правых, и левых, и умеренных партий. Ведь спасение от правой и левой бездарности и демагогии надо искать не в умеренности и аккуратности, свойственных кадетской партии, находившейся и в прежнее время в компромиссной золотой середине, но в новой, надпартийной государственной идее, по слову И. А. Ильина, в идее древней и только нам через трагический опыт раскрывшейся по новому. Прибавим, забегая несколько вперед, что эту драгоценную для нас идею раскрыл и выразил впоследствии на страницах «Возрождения» не И. А. Ильин, а Струве, и, главным образом, А. А. Салтыков. Все же заслуга И. А. Ильина чрезвычайно велика: он первый с предельной точностью и правдивостью заговорил в изгнании о темной сущности наших политических пороков и грехов, он первый по-новому поставил вопрос о нашей всеобщей вине и о личной вине каждого из нас в отдельности, он первый, исходя из начал религиозных изобличил революционное интеллигентское окаянство и тем по-новому обострил переживания нашей национальной и личной совести. Все, выраженное впоследствии коренными возрожденцами, породилось их обостренной совестью, их склонностью к покаению, и в этом они во многом обязаны огненному слову И. А. Ильина. Это он прозорливо предугадал в «Возрождении», что непокаявшиеся «правые» и «левые», пытающиеся спасти свои правые и левые вывихи, коснеющие в старых пороках, в слепоте и старых недугах, рано или поздно «индивидуально провалятся в большевизм, так же, как в пер-

вичной стадии русской революции русские люди провалились в нее *коллективно*. Ибо у партийных людей, — добавляет И. А. Ильин — (все равно «правых» или «левых»), осталась старая несопротивляемость духовного организма, старая слепота. А искушение стало неизмеримо более сильным».

Теперь, после советских паспортов, выбранных многочисленными правыми и левыми эмигрантами, после почти-тельных визитов в полпредство, сделанных старыми военными, светскими и духовными партийными людьми занимающими видное положение в эмиграции, мы, хоть и несколько поздно, но изумляемся прозорливости И. А. Ильина, удивляемся духовной зоркости «Возрождения» в целом.

И. А. Ильин до конца понимал и чувствовал, что к катастрофе привела нас давнишняя утрата некоей зиждательной и величественной идеи, что мы, а за нами все «культурное» человечество переживаем теперь эпоху великого *идейного кризиса*.

«Это есть прежде всего, кризис духовно-религиозный, — писал И. А. Ильин в «Возрождении», — а потом, в глубокой связи с этим, кризис нравственности, государственности, искусства и экономики. Какие-то долго истончавшиеся нити и ослабевавшие скрепы в наши дни порвались, и весь духовный строй и уклад человечества грозит разложиться сверху до низу. И вот, первое, что нам всем необходимо: увидеть и признать это; второе, — исследовать природу этого кризиса, его основы и причины; третье — искать выхода и обновления.

Современный мир переживает *духовную смуту*. Но гнездо этой смуты водворилось *на нашей родине*: там сейчас ее *дно*, ее *очаг*, ее *рассадник*.

Почему же именно на нашей родине? Как могло это совершиться? Чего именно не доставало ей и нам? Есть ли для нас исход и спасение? И в чем именно? — В этом *наша* проблема, особая, отдельная от других народов и всего человечества...

Нам предстоит бороться со злом не только силою, но главное *идею*, зрелым проявлением — реформою. И победа будет одержана не тогда, когда одолеет наша сила, — **это**

будет только началом; а когда верная идея приведет к верной реформе».

И. А. Ильин, как и большинство коренных возрожденцев, знал и видел, что многие, очень многие, принимают идею всего лишь за тактический лозунг или организационный «прием», или за принцип «формальной юриспруденции (легитимизм, республика) и т. д.»

«А между тем, — утверждал И. А. Ильин, — *идея у нас есть. Именно идея. Именно у нас, у белых.* Она нам не дана, а добыта нами; добыта любовью и опытом, усилиями и страданиями, добыта в борьбе перед лицом смерти, и живет в каждом из нас в глубине его чувств и воли; *но живет в нераскрытом, как бы нераспустившемся виде.* (Курсив мой. — Г. М.) В белой душе есть как будто некая шахта и на дне ее некий светящийся клад, как бы частица непрестанно излучающегося радия; но по этим сверканиям которых не подделаешь и не фальсифицируешь (ибо они — в высшем религиозном смысле слова искренни), мы узнаем друг друга.

Но далеко не все наши знают и понимают, что в этом излучающем центре белой души и белого характера — заключена, завернута, скрыта та идея белого движения, которую надо извлечь, поднять и утвердить на общее сознание и признание».

И. А. Ильин бесспорно и несомненно был прав, утверждая, что белая идея жила и все еще продолжает жить в своем нераскрытом, как бы нераспустившемся виде, в душах многих участников белого движения. Однако, ныне, хоть и для немногих, но все же белая идея раскрылась, развернулась и осуществилась в разуме. Она поступила в сознание, пусть пока еще немногих, благодаря «Возрождению», благодаря подготовительным духовным усилиям И. А. Ильина, учувшего ее вторичное зарождение, ее обновление в душах русских людей — там, далеко, еле видно, на дне, в благословенных тайниках, в душевных недрах нашей родины. Но сознательное раскрытие идеи, созревшей в глубинах *белой души*, было сделано не И. А. Ильиным, а П. Б. Струве и А. А. Салтыковым.

Я уже говорил в начале этой книги о двух важнейших

течениях, о двух направлениях, присущих коренным сотрудникам «Возрождения». Некоторым из возрожденцев, в том числе и И. А. Ильину, дано было, вслед за Достоевским, религиозно *чувствовать и постигать* вечно женственную сущность родимой земли, святой Руси. Другим, во главе со Струве, Салтыковым и Семеновым, дано было *сознавать, понимать*, вслед за Константином Леонтьевым, духовную суть российской нации, осмысливать отечественный, мужественно творческий, созидательный очаг.

И. А. Ильин, воспринимавший Россию прежде всего, как родину, первый учуял в белой душе плод обновляющейся, заново назревающей идеи. Но существа идеи он не определил и не высказал, ибо все его внимание сосредоточилось на самом факте ее чудесного зарождения.

«Пусть не думают люди «немыслительного склада», — писал Ильин в «Возрождении», — что «извлекая», мы что-то утеряем, «поднимая», обессилим, «сознавая», затемним или погасим. Все в глубине останется по старому — не уменьшенным, не утраченным и сильным; но приобретет сверх того — доступность для ума, ясность, достоверность; станет постигнутым принципом, доказуемым основоположением, сознательным «убеждением», станет правилом новой общественной организации, мерилom обновляющегося законодательства и порядка. Иными словами, добытая нами в живом опыте волевая верность и волевая сила станут идеею, но не отвлеченной выдумкой досужего ума, ее условной «конструкцией», а идеей-силою, способом жизни, патриотическим деланием.

Поднять эту идею из глубины белого опыта и возможно, и необходимо. Для этого, между прочим, нам дан срок эмиграции. Но работа эта только еще начата» (Курсив мой. — Г. М.).

И. А. Ильин, равно как и Струве, и Салтыков, и Ольденбург, и Чебышев, призывали русских людей на страницах «Возрождения» отречься раз и навсегда от безбожного, беспочвенного, беспредметного радикализма 19-го века, «умевшего критиковать и бунтовать, и не умевшего ни государственно властвовать, — ни сопротивляться злу силою». «Необ-

ходима, — добавлял И. А. Ильин, — новая, верная установка души, обновленный духовный акт, сознательный и идеологически развернутый в систему народного просвещения и ационального воспитания».

Вообще в высшей степени характерно для коренных возрожденцев, как верных носителей белой идеи, их решительное, безповоротное оттолкновение от безбожных теорий, от беспочвенного, беспредметного радикализма 19-го века.

Но именно потому, что решительно отвергало «Возрождение» атеистический радикализм 19-го века, оно в лице своих лучших представителей стремилось излечить многочисленных участников белого движения от чрезмерно радикальных и прямолинейных суждений, неминуемо приводящих к не менее радикальным и непоправимым действиям. Так, еще в 1925 году И. А. Ильин писал в «Возрождении», обращая преимущественно к непосредственно участвовавшим в гражданской войне:

«Можно, конечно, закрыть себе глаза на трудное и сложное, — рубить с плеча: «вздор», «нет», «довольно», «дой», «упразднить». Чем ожесточеннее и необразованнее душа, тем легче она занимает такую неумную позицию. Но надо же понять, что голое отрицание не опровергает заблуждения и не отрезвляет увлеченного человека; что *идейный нигилизм справа* не многим умнее и состоятельнее *левого нигилизма...*» Пусть социализм есть заблуждение; но разве честные люди впадают в заблуждение не в поисках справедливости? Пусть равенство есть завистливая химера; но разве всякое неравенство справедливо и жизненно полезно? Пусть бремя свободы непосильно для многих людей. Значит ли это, что человеческий дух не нуждается в свободе? Пусть современная демократия искажает здоровую государственность и создает расцвет пошлости; значит ли это, что между властью и народом должно существовать отчуждение и разобщение?»

Обратиться к читателям «Возрождения» — бывшим участникам белого движения, обратиться вообще к русским людям наших дней с подобными вопросами-ответами, было

со стороны И. А. Ильина умно, уместно и своевременно, ибо носителям белой идеи и, следовательно ее осуществлению, грозила и все еще грозит опасность не слева, но справа. Левых, русская революция изобличила до конца, радикализм 19-го века опытом белого движения был обезврежен, изжит и исчерпан, но правые, хоть и сильно скомпрометированные в глазах белого офицерства своим поведением во дни гражданской войны и в эмиграции, по-прежнему соблазняли людей «немыслительского склада» своим методом коротких и тупых замыканий, своей биологичностью, зоологичностью, способной подавить любую самостоятельную мысль, погасить любое духовное горение.

Отвергая правых наравне или почти наравне с левыми, изобличая вывихнутое политическое разумение и тех и других, И. А. Ильин предуготовлял пути для нахождения новой, или вернее обновленной, российской государственной идеологии. Но сознательно развить и развернуть ее суждено было не Ильину, а Струве и главным образом Салтыкову, при дружной поддержке, сотрудничестве и сочувствии Семенова, Ольденбурга и Чебышева — людей, глубоко разделявших государственные воззрения Константина Леонтьева.

12.

Оба редактора «Возрождения» — и Струве и Семенов, были всегда одинаково далеки от всех видов и подразделений народничества, от всех упований и ставок на голое племя, или, что то же, на этническую гущу, на туземщину. Струве в молодые годы в значительной мере предохранился от народничества марксизмом, с его верой в идею, пусть низменную и злостную, но прививаемую народам извне, в целях выработки психически и телесно новой человеческой породы. Впоследствии, отказавшись решительно от всех социалистических теорий и построений, Струве весь целиком отдался религиозному чувству, пламенной вере во Всевышнего, приведшей его в зрелые годы к Церкви, причем его восприятие вселенского православия оказалось — совсем не слу-

чайно, а напротив того глубоко закономерно, — далеким от церковной общественности и тем весьма близким к средневековой аскетической церковности Константина Леонтьева, во всех отношениях чуждой вере в народ, как самостоятельного носителя идеи и вообще каких бы то ни было творческих самовозгорающихся возможностей.

Отказавшись от социализма, понимаемого по марксистски, и отдавшись религиозному чувству, Струве неминуемо должен был прийти к оправданию и принятию имперской государственности. В свое время, с неменьшей закономерностью, пришел к ней и Константин Леонтьев, углубляя и усложняя свое религиозно-эстетическое понимание монархизма.

Что же касается Ю. Ф. Семенова, то он, подобно Константину Леонтьеву, монархистом родился. Его длительное пребывание на Кавказе (он окончил гимназию в Тифлисе и позднее там же был редактором видной газеты) укрепило и развило в нем цельное, ничем не ущербленное чувство, а впоследствии и сознание государственного величия Империи.

В сумеречные десятилетия России конца 19-го и начала 20-го века, когда сами наши монархи, а за ними правительство, двор, высшие военные и светские чины, утратив верное представление о деле Петра и подготовивших это дело деяниях Иоанна 4-го, Царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона, превратились в народников славянофильского толка, — на различных окраинах России, и особенно на Кавказе, все еще принимались по инерции имперские меры, проводилась имперская политика, прививались принципы имперской государственности. Малейшее отступление от Петровских заветов, малейший уклон к какому бы то ни было виду народничества, привели бы нас на Кавказе к весьма тяжелым осложнениям. Старые, в высшей степени патриархальные, кавказские национальности по-прежнему опирались на строжайшую иерархию.

Признав, по замечанию, за Петербургом право высшего, во всех отношениях и смыслах надпартийного судьи, избавившего их от беспрерывных войн, междуусобиц и братоубийственной мести, кавказцы никогда не простили бы цар-

ской власти ее измены надплеменной имперской идее, не простили бы антигосударственной, хотя бы только теоретической пропаганды призрачного славянского превосходства. Наместник, если бы он и захотел того, не мог бы, пребывая в Тифлисе, не соблюдать строжайшим образом имперских принципов правления, установленных на Кавказе еще в царствование Императора Николая I и Александра II. Погружаясь в центре и в столице в духовном отношении в сумерки, Российская Империя продолжала жить и процветать на своих окраинах, в особенности на Кавказе. На Тифлисе, на его штатских и военных чинах, на его администрации и обитателях опочил имперский дух. Чрезвычайно острая племенная рознь, все еще существовавшая между кавказскими национальностями, нисколько этому не мешала. Напротив, она то и понуждала враждующих возлагать все чаяния на Империю, как на избавительницу от векового зла.

В атмосфере имперского государственного творчества вырос, воспитался и жил в Тифлисе Ю. Ф. Семенов. Дух свободы, терпимости и политического такта и одновременно волевою организаторскую мудрость принес он с собою в «Возрождение». Под руководством Струве, потом Семенова, при ближайшем участии Ольденбурга, Чебышева и Салтыкова, оно стало рассадником и распространителем имперской идеологии. Но мужественный, суровый дух этой идеологии всегда смягчался в «Возрождении» дыханием Родины-Матери, воодушевлявшим все статьи И. А. Ильина, произведения Куприна, Шмелева, Сургучева, Коровина, Лукаша и Бориса Зайцева. Либерально-консервативным началом, проповеданным Струве и всецело унаследованным Семеновым, живы были и злободневные фельетоны А. М. Ренникова, а также и А. А. Яблоновского, совершенно излечившегося от своего прежнего радикализма.

С утверждения либерально-консервативной имперской идеологии, обновленной Струве, началась духовная жизнь «Возрождения».

Это необычное соединение двух, казалось бы непримиримых между собою, понятий, принадлежит умнейшему современнику и другу Карамзина, Жуковского, Крылова, Чаада-

ева, Грибоедова, Пушкина, Баратынского, Тютчева, и Гоголя, глубокому и острому мыслителю, автору целого ряда статей и писем, написанных на темы общекультурные и литературные — князю Петру Андреевичу Вяземскому.

Он на многие годы пережил своих младших друзей, Пушкина, Баратынского, Гоголя, пережил он и Тютчева и умер в 1878 году восьмидесяти шести лет от роду. Он был горестным и одновременно ироническим свидетелем нигилистических опытов Писарева, Чернышевского и Добролюбова, свидетелем их варварских усилий, направленных на разрушение религии, искусства и подлинной науки.

В зрелые годы неотъемлемая частица краткого русского ренессанса, золотого века русской литературы, с какой ядовитой усмешкой смотрел он на молодых невежд!

В семидесятых годах, в глубокой старости, он видел начинающиеся сумарки российской государственности, он наблюдал умственную скудость уже нарождавшихся у нас политических партий, засилие при дворе позднего славянофильства, превращавшегося постепенно в плоский шовинизм, вырождение подлинной либеральности в радикализм, консервативности в реакционность. К тому времени все исторические и культурные перспективы были уже в достаточной мере исковерканы у нас левой скрытой и открытой пропагандой, равнением разночинцев и так называемой интеллигенции на революцию.

Между прочим, к середине 19-го столетия, для более успешного достижения революционных целей, радикально настроенные интеллигенты окончательно исказили истинный образ Пушкина. Из человека глубоко сословного, гордившегося своим шестисотлетним дворянством, по духовному своему скаладу и воспитанию всецело принадлежавшего великодержавному 18-му веку, революционные радикалы беззастенчиво смастерили некий призрак собственного подобия, некоего самоотверженного разночинца, вступившего в борьбу с жестоким самодержавием во имя равенства и социальной справедливости.

Именно в ответ на такое безобразное искажение Пушкина, как человека, князь Вяземский, в одном из своих

поздних печатных выступлений, назвал государственные воззрения поэта либерально-консервативными, невольно определив этим и самое существо имперской идеи, созидавшей Россию. Назвать государственно-политические основы Пушкина значит наименовать самую сущность заветов строителя чудотворного — Петра. Это понял Струве и благоговейно приняв к руководству крылатое выражение князя Вяземского, возродил и омыл его, говоря словами Баратынского, в купели наших новых страдальческих дней.

Вот что писал Струве в «Возрождении» в 1925 году о либерально-консервативном начале:

«Консерватизм есть возведенная в принцип «почвенность» и сознательное почитание отцов. Радикализм есть принципиальное отрицание исторической почвы и высокомерное презрение к отцам.

Либерализм есть политическое направление, высшею ценностью признающее личную и прежде всего хозяйственную свободу. Но русский интеллигентский либерализм шел в хвосте социалистического радикализма.

Сочетая слова «либерализм» и «консерватизм», мы выдвигаем целую программу. Это сжатая формула, провозглашающая личную свободу тем устоям жизни, которые, как высшую ценность, мы будем отстаивать от наседающего на европейскую культуру социализма-коммунизма.

Можно сколько угодно заниматься обличением современного капиталистического или буржуазного строя, можно справедливо указывать на духовную выветренность европейского общества, но только полная утрата чувства исторической перспективы и совершенное непонимание значения форм жизни может диктовать внутреннее лживое и бескусное моральное приравнение и даже отождествление социализма и капитализма.

Борьба социализма с «буржуазным» правопорядком не есть борьба двух зол — это натиск социалистического варварства на органическую христианскую культуру.

Тут намечается, можно сказать, историческая задача русской контрреволюции и в частности ее зарубежного крыла — быть *застрельщиком* нового духовного самоутвержде-

ния буржуазного общества, его *возрождение на стародавних и вечных началах христианской культуры*».

Струве еще до мировой войны 14-го года, в предвидении нашей катастрофы, первый установил величайшую разницу между истинным либерализмом и русским интеллигентским радикализмом, между благотворной государственной консервативностью и правой партийной реакционностью. В радикализме нашей интеллигенции, в реакционности наших правых, в болезненном расщеплении, в расколе еще так недавно здоровой синтетической идеи, заблаговременно усмотрел Струве смертельную опасность, грозящую России. Все, написанное самим Струве в «Возрождении», было лишь дополнением ко многому высказанному им задолго до все-русского крушения.

Партийные споры и ссоры, обнаружившие на Зарубежном Съезде и вокруг него глубочайшую несостоятельность всего «левого» и «правого», нисколько не удивили Струве, давно уже постигшего своим пронзительным умом причины русских бед. Не застали они врасплох и Семенова, человека духовно цельного, органического и всем существом впитавшего в себя Петровы заветы. Обличение русского государственного раскола, начавшегося с появлением на Руси западников и славянофилов, породивших волею и неволею смертоносный интеллигентский радикализм и чудовищную племенную славянофильскую реакцию старо-московского образца, обличение всего «левого» и «правого», сделалось одною из главнейших задач «Возрождения». И его единственной конечной целью было обновление и прояснение заветов Петра Великого в сознании подлинных россиян, носителей белой идеи.

13.

На все происки левой, когда-то преступной, теперь же отжившей пропаганды, на кустарную политику правых, «Возрождение», по воле всех членов редакции, ответило статьями А. А. Салтыкова, до сих пор все еще недостаточно оцененными. Эти статьи, по своему историческому содер-

жанию, сложны, глубоки и в высшем, духовном смысле слова — аристократичны. Они аристократичны, как сама идея киевской, московской и, наконец, российской имперской нации. Но прежде, чем говорить о том, что такое в понимании и толковании «Возрождения» нация вообще, а в частности российская имперская нация, мы постараемся, по возможности кратко, передать, что думал Салтыков, что думало «Возрождение» о славянофильстве, как о главной причине всероссийской катастрофы, главной потому, что уже с конца семидесятых годов это народническое учение, проникнув во дворец, завладело чувствами людей, ответственных перед государством. Высшие администраторы и сановники того времени, заразившись славянофильским учением, поспешили внедрить его сверху в существование. Поддержанное свыше, оно оказалось неизмеримо более губительным, чем учение западников, возникшее, как известно, одновременно и одновременно со славянофильством в одном московском барском салоне тридцатых годов прошлого века, и быстро выродившееся в интеллигентский революционный радикализм.

Глубоко прав был Салтыков, утверждая, что при императоре Николае I славянофилы находились под неусыпным наблюдением администрации, нисколько не в меньшей мере, чем их враги — западники. Можно даже сказать, что Государь не давал себе особого труда разбираться в принципиальных различиях, разделявших обе секты, и был даже склонен смешивать их в одно. И поступая так, он вовсе не был неправ. Напротив, относясь к славянофилам с такою же подозрительностью, как и к западникам, он обнаружил не только в высшей степени верный государственный инстинкт, но и глубокое понимание политических идей и истории, и прежде всего, глубокое понимание своей Империи.

Но иначе обернулось дело к концу царствования Александра II. В те годы, поддержанное сверху, славянофильское учение широко проникло во все слои населения и сильно пошатнуло российский, дотоле железный административный аппарат.

Развивая и дополняя, на основании непосредственного опыта наших дней, главнейшие положения Константина Леонтьева, Салтыков писал, как в отдельной книге, так и в «Возрождении»:

«Нам необходимо дать себе полный и ясный отчет в том, что Россию разрушила не столько прямая атака Революции, сколько расслабляющее действие Реакции, не столько социалистический интернационал, сколько славянофильский национализм. Славянофильская реакция омертвила в несколько десятилетий всю живую ткань Империи и уничтожила ее, когда-то огромную, силу сопротивления. Она спутала и смешала, видоизменив до неузнаваемости, все основные идеи, всю психологию старой Империи. Она принесла с собою идеи, совершенно чуждые и даже противоречащие природе Империи и, изменив в конце концов коренным образом всю имперскую политику, перепутала и ослабила до чрезвычайности ее внешние и внутренние позиции... Только благодаря этому *перерождению нашей старой Империи, Революция могла разыграть у нас свою игру.*

Западническая Революция вела против Империи прямую атаку; славянофильская же Реакция подтачивала медленно действующим ядом ее крепкий и здоровый организм. И такое согласное, ведшее, хотя и разными путями, к одному и тому же результату — действие двух враждующих сил сумеречной России далеко не случайно. Оно имеет, напротив, очень глубокие причины, лежащие в самой основе их природы, в их внутреннем, затаенном сродстве...

Наши Реакция и Революция оказались друг другу сродни. Деятельность славянофилов, по существу своему, была революционной, ибо она ниспровергала освященные временем и традициями основы имперской жизни. И именно как к деятельности революционной отнесся к ней Император Николай I. И то же можно сказать и о всей вообще русской Реакции. *Она хотела превратить инородцев, иноплеменников, из подданных Российского Императора в подданных русского народа.* И этим, при внешнем монархизме славянофилов, Реакция в действительности извращала самую

идею монархии, а также и идею Всероссийской Империи. Так-то впоследствии, когда она уже пропиталась славянофильскими идеями, — стала революционной и деятельность самого правительства, с его лозунгами «обрусения», «Россия для русских» и с его попытками вернуться к — правда фантастическому, как и все идеалы славянофильства — московскому терему. Этот-то отказ от старой петербургской программы, т. е., в сущности, отказ от Империи, революционизировал Россию не в меньшей, а в большей степени, чем бомба Желябова и «иллюминации» 1905 года.

Но в той же мере, как была революционна наша Реакция, была реакционна и даже ретроградна — сама Революция. Она уже загнала Россию на несколько веков назад. И можно ли этому удивляться, когда ее основной и действенный лозунг — призыв к черному переделу — представляет собою не что иное, как отказ от самого принципа прогресса и возврат к первобытному хозяйственному варварству и хаосу. Эти-то черты — революционность нашей Реакции и реакционность нашей Революции — и указывают на их глубокое органическое сродство. И этому, повторяю, нельзя удивляться, так как и Желябов, и братья Аксаковы произошли из одного и того же источника и вместе связаны преемственно с давно позабытыми ночными спорами в одной и той же старой барской квартире в Нащокинском переулке в Москве. В наши дни спор между западничеством и славянофильством можно признать окончательно разрешенным и сказать, что из двух — западника Бакунина и славянофила Самарина — был прав... Император Николай I. Теперь, прежде чем пытаться строить новую Россию, нам необходимо вполне выяснить, какой России, какой Империи мы хотим. Ибо между старой, настоящей Империей Императоров Александра I и Николая I и Россией последних предреволюционных сумеречных десятилетий была огромная разница. Это были две различные, а вовсе не одна и та же, государственности: совершенно различное было у них содержание и даже различны были и формы. Наша старая Империя времен Екатерины II, и Александра I и вся тогдаш-

няя петербургская политика России не были националистическими (в некоторых отношениях они были прямо таки антинационалистическими), они были *национальными* в истинном значении этого слова, т. е. создавали имперское объединение и возвеличивали Россию. Старая империя была тогда не только «дистанцией огромного размера», но и дивным откровением *национального* творчества и чудом политического зодчества. Лишь она пробудила, объединила и организовала разрозненные, инертные и отчасти даже прямо анархические силы нашей первобытной этнической, племенной стихии; лишь она зажгла в сердцах русскую веру и вызвала в них русский патриотизм. Отнесенные судьбой во времена Московии к Северному Полярному Кругу, в пустые холодные равнины, суровые леса и безводные степи, без южного солнца, без теплого моря, без *традиций античной цивилизации*, имели ли мы право рассчитывать стать тем, чем мы стали в действительности, т. е. мировой державою, могущественной и просвещенной страной, житницей Европы и нужным необходимым членом общества великих наций? И все это сделала Империя, и только она. Во внутреннем же ее действии сила притяжения Империи была столь велика, что она сумела не только нейтрализовать, но и привлечь к себе даже такой антигосударственный элемент, как еврейский — так было в николаевские времена.

Нашу старую Империю долго не понимали ни мы сами, ни Европа. Не понимают и теперь. В широких кругах стало чуть ли не трюизмом считать империю — реакционной, а с другой стороны, с легкой руки славянофилов, в нашей исторической науке процвел, вопреки очевидности и фактам, взгляд на дело ее создателя, Петра Великого, как на дело революционное. Между тем, Империя, как и само дело Петрово, не была ни ретроградна, ни революционна. Она была консервативна в лучшем значении этого слова и вместе с тем прогрессивна по самому своему существу. Да, Пушкин не ошибся: в России правительство действительно было всегда впереди народа.

«Немец... финляндец... грузин... татарин... Это и есть

Россия»... Что означают эти слова Николая I? Они означают, во-первых, что все поданные российского Императора, без различия племени и вероисповедания, составляют *единую имперскую семью*; что в Империи не может быть, в племенном отношении, подданных первого и второго сорта; что она не может делать различия между родными своими сыновьями и пасынками, *между туземцами и пришельцами*; что всякая политика обрусения противоречит идее Империи по самому существу.

Но, наряду с мыслью о равноправии всех подданных все-российского Императора и всех населяющих Империю национальностей, наша старая имперская идея имела и другую сторону. Совершенно очевидно, что будучи для всех общей матерью, Империя строилась и была жива не тунгусами и юкагирами и даже не грузинами и татарами. Кем же преимущественно строилась она? Коренным русским племенем? Нет! Превознесшая до небес русское имя и создавшая русскую славу и русское величие, старая Империя отвечала иначе в сокровеннейшей своей мысли на этот вопрос. *Она считала себя призванной, и действительно была призвана, это племя оевропеить*. Во многих отношениях она была прямым отрицанием племенных великоросских черт, была борьбой с ними. Вообще она была живым отрицанием темного этнизма и ветхого московского терема. Для нее принадлежность к русскому племени сама по себе не означала ничего. Мерилом ценности подданного была лишь служба Империи. Поэтому служащий грузин, немец, армянин были всегда выше не служащего русского. Кроме того, паролем и лозунгом Империи было дело Петрово. Она смотрела на Запад, а не на Восток. Отсюда — вся направленная на запад политика старого имперского правительства, а вместе с тем и огромная роль, выпавшая в строительстве Имперской России нашим западным областям, населенным не русским и, во всяком случае, не великоросским племенным элементом.

Наше старое имперское правительство было европейским правительством азиатской страны. И поэтому-то это правительство и было всегда впереди народа. Так обстояло дело до

самого последнего дня, т. е. вплоть до нашей злосчастной и бездарной революции; из двух сил, творивших на наших глазах судьбу России — правительства и пресловутой «общественности» — прогрессивною силою было, конечно, правительство, олицетворявшее Империю. Эта истина уже теперь должна быть ясна для всякого. Но как ни истинна эта истина, нельзя не видеть, что в самой Империи, в основных ее идеях и повседневной практике, произошли в течение последних десятилетий существенные коренные изменения, искажившие, в конце концов, ее подлинное лицо. И параллельно с усилением в имперской жизни начала так называемой «народной самобытности», стали понемногу иссякать в ней прежние, действительно животворящие струи. Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы — вот первые этапы этого нисходящего развития, или, говоря проще, русского декаданса. Наступили сумеречные десятилетия. Славянофильские идеи торжествовали по всей линии. Они то и сделали возможным революционный подкоп, совершенно бесповоротно подорвавший нашу государственность во дни ретроградной, приведшей к революции и большевизму, т. е. к первобытному варварству — безысходно серой и безнадежно провинциальной Государственной Думы. А между тем, близорукому глазу долгое время могло казаться, что ее деятельность была направлена на весьма прогрессивные цели. И не прикрывалась ли эта разрушительная деятельность, запечатленная весьма типическими недостатками именно русской общественности, именно *нашей* этнической стихии, такая русская душою, — что ни на есть, казалось бы европейскими формами «партий», «запросов», «бюджетных прений», включительно до специального думского жаргона всяких «кулуаров» и. т. д.?

В конечном итоге, с какой стороны ни взять, наша «общественность» — как западническая, так и славянофильская, как революционно-космополитическая, так и реакционно-националистическая, — всегда была стихией анархической и глубоко антигосударственной. Таковую она была на заре нашей истории (что может быть в этом отношении показа-

тельное эпизода «призвания Врагов»? и таковую же она осталась до наших дней.

Вся наша история была сплошным призванием Варягов, и в настоящее время, когда в корне разрушена наша государственность, тем страннее ожидать, чтобы мы смогли создать что-либо творческое и положительное из самих себя, т. е. из той же пресловутой русской «общественности», которая всегда только умела разрушать.

Русская государственность была всегда борьбою против этой общественности не случайно. В этой борьбе заключался ее главнейший смысл. По самому существу этих во всем противоположных друг другу начал, они должны были быть, и действительно неизменно были кровными врагами.

Наше самодержавие было в сущности ничем иным, как европейским просвещенным абсолютизмом. И как раз в ту же эпоху, когда он расцвел в большинстве стран Европы (XVIII век), и у нас окончательно консолидировалась и окрепла и вместе с тем глубоко прониклась просветительными и прогрессивными стремлениями, — царская власть. Но сродство или вернее полное тождество и самой конструкции власти, и ее функций и вообще исторического действия в России и в большинстве европейских стран — не ограничивается одною лишь эпохою «просвещенного абсолютизма». Русская государственная власть, как она сложилась в 18-м и первой половине 19-го века, была таким же продуктом зачаточной монархии «Рюрика, как и ново-европейская монархия постепенно развилась из феодально-коммунального строя эпохи Каролингов и Капетингов. Разница лишь в том, что в то время, как европейские страны проделали эту эволюцию самостоятельно, в России, в виду органической слабости и неустойчивости ее созидательных элементов, она могла совершиться лишь под сильным европейским влиянием. Что же касается эпохи «просвещенного абсолютизма», то власть наших государей, наследников Петра Великого, была не менее и не более абсолютной, чем власть современных им европейских монархов. Ореол же религиозного освящения был присущ политической власти европейских суве-

ренов ничуть не в меньшей степени, чем власти московских царей.

Но в России, в виду огромности ее территории и первобытного анархизма ее этнической стихии, потребность в резко очерченной, могущественной центральной власти всегда чувствовалась в гораздо большей мере, чем в западноевропейских странах с их хорошо дисциплинированной «общественностью» и тысячелетними традициями и инстинктами древних цивилизаций».

14.

Я сделал и позволю себе сделать еще обширные выписки из некоторых историософских рассуждений Салтыкова о судьбах России только потому, что они содержат в себе основные положения, настойчиво выставлявшиеся, проводившиеся и распространявшиеся «Возрождением» в период его существования от 1925 по 1940 год. Надпартийная или, как писал Струве, сверхпартийная политическая позиция, занятая «Возрождением», неминуемо повела и привела этот печатный орган русской национальной мысли к утверждению имперской идеи, впервые обоснованной религиозно-философски Константином Леонтьевым. За всеми рассуждениями Салтыкова и Струве, за всей редакторской системой, установленной Семеновым, за всем прежним «Возрождением» стоит тень этого величайшего религиозно-государственного мыслителя. Одни стороны его учения развивал в «Возрождении» Струве, другие, дополняя Струве, культивировал Салтыков. Что же касается Семенова, то он вел «Возрождение» так, как вел в свое время Константин Леонтьев редактируемый им «Варшавский вестник». Но все это было не подражанием великому мыслителю, а дальнейшим органическим развитием, выращиванием его идей, с новой силой устремившихся к жизни, властно ищущих своего воплощения и применения, в противовес всероссийскому крушению. Других путей спасения, кроме намеченных когда-то провидевшим русскую революцию Константином Леонтьевым и продолженных «Возрождением», у России как будто не предвидится.

Роковым ходом революционных событий все утверждения, все рассуждения Салтыкова о судьбах России заострены до крайности. Они заострены так еще и потому, что Салтыкову дано было, как мы уже сказали, выращивать лишь некоторые стороны этих идей Константина Леонтьева, в то время как другие стороны этих идей развивались Струве. Но и вдвоем не могли они исчерпать всех возможностей, скрытых в религиозно-государственном учении Константина Леонтьева. Мудрость же Семенова, как редактора, сказалась в том, что он сумел сгруппировать в «Возрождении» еще иные творческие энергии, связанные не с мужественной мощью отечества, а с женственной силою Родины-Матери. Но прежде, чем говорить о значении этих энергий в «Возрождении», вернемся к насущному для нас рассуждению Салтыкова о народе и нации.

«Один из гениальнейших русских писателей, — писал Салтыков, имея в виду Достоевского, — вкладывает в уста одного из своих персонажей такую фразу: «Бог есть собирательный гений народа». Этот случай показывает, насколько осторожно следует обращаться с понятием Божества и как легко впасть в злоупотребление термином «народ», особенно в русском языке, где это слово имеет много значений и притом крайне расплывчатых и неопределенных. Именно поэтому необходимо указать на опасность любой идеологии, отправляющейся от начал «народа», «народности», «племени», «самобытности» и т. д. Дело в том, что мы не успели еще выработать своего русского слова для означения «нации» — факт, далеко не случайный, как не случайно то, что и само слово нация у нас далеко еще не обрусело. Поэтому это понятие мы часто выражаем словом «народ». Но «народное» очень часто и многими понимается у нас, как «простонародное», и, таким образом, от возвеличивания «народного» к возвеличению «простонародного» — один шаг. В эту-то диалектически-психологическую ловушку и попали и ушли с головою славянофилы.

«Править Русью призван только черный народ».

Вот диктатура пролетариата и торжество «простонарод-

ного», провозглашенное еще за пятьдесят лет до Ленина и Троцкого, и притом в прямой связи со славянофильскими идеями!

При этом я, конечно, не оспариваю, что народничество имеет и западническую генеалогию — новое доказательство единосущности наших «Реакции» и «Революции».

И как все это вместе взятое и славянофильство, и западничество, и стихия «народного» и «простонародного» — далеко от нации и всех связанных с нею творческих ценностей жизни! *Бедности социальной структуры* — в ней и заключался общий идеал славянофилов и западничества — должна неизбежно соответствовать *бедность национальной культуры*. И мы, действительно, видим, что и славянофильство, и западничество — оба они отделяли нас от нации, к которой приближала нас Империя.

«Простонародное» не только не составляет нации, но вообще оно не может создать ничего: ни государства, ни культуры, ни воли к общему действию, ни даже языка. Простонародное — это: «мы — калуцкие», нация же — хотели бы мы того или не хотели — создается и живет не простонародным, ибо нация не только не есть простонародное, но она не есть даже — общенародное. Отдадим себе полный отчет в том, что она, в известном смысле, вообще не есть «народное». Она есть нечто *сверхнародное*. Признаки нации проникающие все ее существо, суть *градация и отбор*. Именно в них заключается ее живая душа и настоящая сущность. Соответственно с этим, новейший исследователь историко-философских основ «нации» — Николай Бубнов и называет это понятие — ярко аристократическим. В свою очередь Lagarde говорит, что выражение «нация» имеет в виду не массу народа, но более или менее крупную группу избранных *личностей*, духовную аристократию. «Вопреки господствующему мнению, — пишет он, — нации не состоят из миллионов; они состоят из отдельных людей, сознающих национальные задачи и именно поэтому способных, встав впереди нулей, обратить их в действительную величину».

Но кто же создал, взлелеял и вскормил Российскую На-

цию? Кто вдохнул в нее жизнь и кем она была жива? Не ясно ли, что наша нация не только олицетворялась, но и была создана Империей и жила и дышала исключительно ею, что она была у нас ничем иным, как ее синонимом, что Империя и была нашей нацией, что только она и давала нам национальное лицо.

Нацию рождает не кровь, а право гражданства, или, что то же, — *победа*. Об этой-то Победе — духовной, культурной и политической — мы должны думать денно и ночью, если желаем восстановить Россию.

При этом мы должны непрестанно помнить, что Россия — нация, Россия — великая держава и Россия — цивилизация и культура — неотделимы от Европы. Как нация, как государственность и как культура, мы всегда были частью Европы. В этом отношении мы всегда были ее детьми, ее законными сыновьями. Одинаковы с европейскими не только все основы нашего культурно-национального бытия, но и все наше историческое развитие проходило как раз через те самые этапы (и приблизительно одновременно), как и эволюция западноевропейских стран. Итак, если наше национальное развитие совершалось по обще-европейскому историческому образцу, то в чем, спрашивается, заключалась и заключается доселе разница между Западом и нами? Такая основная черта отличия, и притом отличия огромного, — действительно существует. Она заключается в природе основного этического субстрата, на котором возведена наша культурная и национальная постройка. Мы были всегда единосущны Европе, как нация и как культура — так было и до Петра, но это стало еще яснее после Петра. Но вместе с тем мы были всегда ей чужды и поднесь остаемся ей чуждыми — как этническая стихия. На Западе эта стихия представляет наследие римского мира, т. е. многих тысячелетий древне-восточных и античной культур. У нас же... у нас никогда не было римского мира, мы, по словам Чаадаева, еще сравнительно недавно родились в кочевой кибитке скифа.

Таким образом и становится ясным, что «самобытность», обоготворенная славянофилами и всеми нашими на-

родниками, есть не что иное, как наша скифская бездна, ужас которой и заставил нас некогда обратиться к варягам. В этой бездне — все центробежные безумства, вся «первобытность» нашей истории. И плоть от плоти и кровь от крови этого этнического хаоса — есть наша проклятая Богом «общественность».

Идеологи «самобытного» самодержавия и «мужицкого царя» отправлялись несомненно от мысли возвеличить царскую власть. Но они пошли неверным путем и попали в заповеданный круг. Самодержавие только то и делало, — и в этом и заключался действительный смысл его бытия, — что боролось с нашей темной этнической стихией. Между тем, по «самобытной» теории, выходило, что именно от ее духа оно родилось. Так-то в идеологии «самобытного» самодержавия уже заключался отказ от Петербургской программы, т. е. от борьбы с этнизмом, и, значит, его прославление. Начав с Самодержавием «за здравие», славянофилы в действительности свели его дело — «за упокой». Нельзя прославлять одновременно и Самодержавие, и темную этническую бездну, которая всегда противостояла ему. Неумолимая логика жизни вывела из всего этого единственно возможное заключение: торжество славянофильской Реакции привело к усилению «общественности», и провозгласив «самобытность» первым членом своего Символа Веры, мы пришли туда, куда неизбежно должны были придти, идя по этому пути: к Революции, к большевикам, к разрушению Империи и Нации, к потере своего христианского лица и чуть ли не всего своего духовного и материального богатства. На нашу беду, славянофильские тенденции в свое время чрезвычайно затемнили для Запада ту истину, что все творческие ценности жизни: нация, просвещение, культура, героический порыв, народный труд — были у нас теснейшим образом связаны, как с идеей, так и самым материальным фактом существования царя. И так как основной задачей Революции было доказывать, что как раз в царе заключалось главное препятствие к осуществлению всех положительных ценностей, то Европа очутилась в борьбе двух сил нашей «общественности», как между двух

огней. Удивительно ли, что она не могла понять сущность этой борьбы, когда мы сами так долго ее не понимали, да и понимаем ли еще даже и сейчас?»

На этот вопрос Салтыкова, к нашему величайшему несчастью, очень многие и теперь могли бы добросовестно ответить: нет, не понимаем. Не поняла ничего в этом до сих пор и Европа, кстати, вернее же совсем некстати, переживающая ныне глубочайший социальный, экономический и духовный кризис. Призванная же обстоятельствами к пониманию русских дел, Америка собирается, по-видимому, в виде посильной помощи и миру, и нам, продлить столь успешно начатый еще Вильсоном, преступный опыт по самоопределению народностей.

Итак, возлагать надежды на иностранную помощь, пожалуй, еще и рано, особенно после немецких опытов, столь позорно и заслуженно провалившихся. Что же касается нашей левой «общественности», то всякие попытки объединения с нею следовало бы бросить давно. Нам остается лишь снова напомнить уже дважды опубликованное Салтыковым обращение:

«Эти строки, — писал Салтыков, — обращены не к господам революционерам, а к нашим консерваторам. Революционеров все равно ни в чем не убедишь. Как показывает опыт разных «Парижских совещаний» и революционных правительств, временного, Деникина и т. д., русские революционеры, подобно Бурбонам, ничего не забыли и ничему не научились. Они безнадежны. Но и консерваторы могут легко проиграть свое дело, т. е. дело России, дело Империи, а потому обращаюсь к ним и говорю: господа, пересмотрите, пока не поздно, свои тезисы и создайте целостную, органическую, опирающуюся на жизнь и историю программу. Эта программа должна быть не националистскою, а имперскою, не русскою, а *Российскою*. Но для того, чтобы создать такую органическую программу, следует прежде всего уяснить себе возможно отчетливее — что такое была старая, настоящая Имперская Россия, которую отчасти вы сами проиграли в игре в «самобытность» и «исконные начала». Поднимитесь

же из низин темного этнизма на светлые высоты нашей былой Империи.

*Империя не знает, не может знать партий, ибо она есть единение. И нам нужна не партия, а единение. Но если и для единения необходимо имя, как постоянное напоминание о его цели, как вечно звучащие его пароль и лозунг, то трудно нам придумать лучшее имя, чем — *Всероссийский Имперский Союз*».*

Так писал Салтыков. Однако, всецело приняв обособленную Салтыковым имперскую идеологию, «Возрождение» не только всегда смягчало некоторые его мнения, но и вызвало к жизни, как некое женственное дополнение к суровому имперскому учению, иные чувствования, иные привязанности. И от художественных произведений некоторых писателей, постоянных сотрудников «Возрождения», шли нити, непосредственно воссоединявшие нас с Родиной-Матерью и тем неизменно напоминаящие нам, что не одним суровым созиданием, не одной великолепной действенно-мужественной силой, идущей на нас извне и нисходящей к нам сверху, живо человеческое сердце, но что оно любовно принимает к истокам родимой земли и что Богом данная человеку искра жива не только в творцах и строителях, не только в элите, в духовной аристократии, в нации, внутренней волей своею превращающих искру в неугасимое пламя, но и в народе, в простонародье, в любом, по выражению Салтыкова, этническом субстрате. Ведь падший, грехом раздробленный Адам не только ропщет и бунтует, не только стремится к разрушению и самоистреблению, но и любит землю, его породившую, сам призывает на себя благословенное насилие извне и сверху во имя порядка и приобщения к свету. Все пассивное, все слепо бунтующее, восстающее, анархическое ждет неосознанно волевого вмешательства. И это прежде всего и в высшей степени характерно для русской этнической стихии. Отсюда историческое, ставшее знаменитым, наше обращение к варягам. И всякий русский человек, наделенный религиозным чувством, в особенности простолюдин, если бы только проник он в собственную душевную

глубину, мог бы сказать о себе: я монархист, потому что я анархист.

В замечательных рассуждениях Салтыкова есть много драгоценных находок, но есть и существенные недочеты, недомолвки, есть даже одна важная ошибка, влекущая за собою другие. По его убеждению, племя, как таковое, решительно представляет собою *tabula rasa*, на которой можно написать все, что угодно. Он так и пишет в одной своей прекрасной статье, озаглавленной «Раса и племя» и напечатанной в «Возрождении». Впрочем, в той же статье Салтыков оговаривается. Совершенно справедливо отмечая, что «племена не суть духовные союзы», он прибавляет: «это не значит, что племя безусловно лишено духовной жизни. В племени, несомненно, заключены некоторые умственные и типические предрасположения. Но здесь дело может идти в лучшем случае лишь о некотором роде «склонностях», в общем довольно смутных и неопределенных».

Сказанное Салтыковым о племени служит лишь добавлением к словам Константина Леонтьева: «Что такое племя? — бесплодие духовное!»

Да, само по себе все пассивное бесплодно, но это еще не значит, что оно не ждет и не хочет своего оплодотворения.

«Самые способные этнические элементы, — пишет в той же статье Салтыков, — имеющие, казалось бы, все, что нужно для всестороннего развития, не могут сами по себе и из себя ничего создать, т. е., если они не одухотворены творческим дуновением нации».

Это бесспорная и абсолютная истина. И все же одним актом победного и плодотворного насилия, производимого нацией над племенем, дело не исчерпывается.

«Нация, — продолжает Салтыков, — нечто не только отличительное от племени, но уже по самому своему существу ему противоположное и враждебное. Нацию можно, строго говоря создать не «на основе» племенных элементов, но лишь против них, т. е. борясь с ними. И не нам ли,

«птенцам Петровым», знать это лучше, чем кому бы то ни было!»

И здесь Салтыков говорит сущую правду, кстати, очень смелую по нашим чрезмерно демократическим серым временам. На основе племенных элементов решительно ничего не создашь. И все же, настойчиво и справедливо подчеркивая элемент борьбы и вражды, Салтыков не хочет заметить во взаимоотношениях нации и племени весьма существенного. Ведь если, по его собственному прекрасному слову, культура есть любовь, то и приносится она мужественным, действительным началом — нацией и принимается, усваивается, началом женственным, пассивным — племенем, не только во вражде, борьбе и насилии, но и в процессе некоего духовного бракосочетания. Принимая культуру, раздробленный грехом Адам — этнический субстрат, приобщается одновременно к чувству любви. А так как самый ход, самый процесс культивирования бунтующей этнической стихии, длится веками, прерываясь только жестокой военной или революционной катастрофой, постарением и гибелью нации, то в своем абсолютно голом виде племя существует лишь в отвлечении, в представлении. На самом же деле, в жизни, благодаря именно своей пассивности, косности, оно всегда несет в себе искаженные обрывки, когда-то привитых ему ныне погибшими элитами, культур. К слову сказать, в этом искаженном, пассивном запоминании племенем остатков прежнего, не им созданного, культурного величия и состоит так называемое «народное творчество». Таким образом, Пушкин создавал свои сказки совсем не на основе народного творчества, вовсе не существующего, — он лишь подбирал и по своему воссоединял заново обрывки прежнего теремного и жреческого искусства, задержавшиеся в памяти косного простонародья. Однако, пассивное запоминание уже обнаруживает в племени желание воспринять творческое дуновение нации. Не будь этого желания, нация имела бы дело в лице народа не с живыми людьми, а с мертвыми душами, с автоматами, нагальванизованными ею трупами, и сама обрати-

лась бы в пустое, внежизненное отвлечение, повисшее в безвоздушном пространстве.

В косности, в неподвижности племени, содержится какая-то, не ему принадлежащая, не им добытая, но в нем присутствующая божественная мудрость. Действенная, творческая верхушка, в силу своей динамичности, своего устремления в будущее, забывает далекое культурное прошлое; но о нем помнит, пусть искаженно и тускло, этническая стихия. Она сохраняет его в себе в латентном состоянии, как потенцию, как возможность, своего обновления, преобразования, через властное вмешательство нации.

Присутствие именно такой божественной мудрости в тайниках русской простонародной души подразумевал Достоевский, говоря о народе-богоносце. Конечно, до конца прав Салтыков, утверждая, что русская и российская историческая государственная власть, как, впрочем, и всякая другая, никогда не могла быть самобытной, созданною народом, но при всем своем справедливом преклонении перед варягом, перед властью Рюриковичей, московских царей и российских императоров, принесших с собою в наше отечество благотворный европейский абсолютизм, он все же недооценил великой силы воздействия, оказанного на народ нашей исторической властью, в особенности, самодержавием 18-го и первой половины 19-го веков.

Начиная с Владимира Святого, эта власть упорно, долготерпеливо, неотступно прививала, насаждала и укрепляла христианство в русской простонародной душе. В этом и состояла ее задача ее единственная конечная цель. Задача чрезвычайно трудная, по причине особо диких и буйных свойств русской этнической стихии, не подвергавшейся до толе, в отличие от западноевропейских этнических элементов, никакому влиянию греко-римской и древних восточных культур. И все же, трагическим усилием (подлинная государственная власть, по существу своему, вырастает всегда из трагедии) великокняжеская, царская и, наконец, императорская власть свою задачу выполнила. Она так сумела привить русскому дичку христианские начала, что даже зоркий

взгляд Достоевского, и не его одного, принимал в русской народной душе привитое за прирожденное. Вопреки нашей пугачевщине, на которой возвели свое сатанинское владычество большевики, в душе русского простолюдина, благодаря самодержавной власти, навеки запечатлелся образ Христов, к слову сказать, в последние сумеречные десятилетия Империи забытый распадавшейся российской верхушкой, подменившей его сусальной, стилизованной славянофильской выдумкой.

Образ Христов, скрытый теперь в последних глубинах народной души, тем более укрепился там, что большевистская лжевласть осуществление не номинального, но настоящего социализма — показала народу на деле до чего доводят и к чему приводят темные инстинкты пугачевщины, оседланной и сознательно управляемой богоборческой силой. Недаром предпочитал Константин Леонтьев воцарению самодовольной, серой, духовно бездарной демократии крайний и кровавый социалистический опыт, наглядно показывающий, как мы это знаем теперь, безумие и ужас отпадения от церковных устоев и органической государственности.

Доказательством от обратного, внедрением в русскую жизнь международного отребья, вмешательством в нее большевиков, — варяга на выворот, — может быть, спасется теперь Россия. Константин Леонтьев, предвидевший русскую революцию, предсказавший все ее фазы, думал и надеялся, что кровавый социалистический опыт приведет нас к своей противоположности и может быть навсегда предохранит нас от заболевания, разъедающего на наших глазах западноевропейскую государственность, заболевания, называемого эгалитарно-демократическим прогрессом, политической партийностью, возведенной в принцип, в призрак «свободы», на самом же деле ведущей к смерти через безвозвратную утрату духовной органичности.

Чаяния Достоевского встретились с упованиями Константина Леонтьева: автор «Бесов» верил, что крайний революционный социалистический опыт, проведя нас через все ужасы безбожья и, следовательно, телесного и духовного

рабства, навсегда исцелит Россию от бесноватых и бесовщины. Так, в пределе, вернее же в беспредельности страданий, постигших Россию, культ Отечества, проповеданный Константином Леонтьевым, сливается воедино с культом Матери-Родины, завещанным нам Достоевским. Идеи Отечества и Родины равно обновляются в страдании и становятся единою, во веки нерасчленимую *Идеей*.

Салтыков, несмотря на свое глубоко оправданное преклонение перед российской исторической властью, недооценивал, как я уже говорил, ее воздействия на народ, на русский этнический субстрат. Недоценил он и силу большевизма и определяя его суть, его истоки, отождествил его с действительно присущими русской народной душе анархией и хаосом.

«Большевики несомненно сделали очень много зла, — писал Салтыков, — но неизмеримо сильнее зло сидящего в каждом из нас застарелого первобытного большевизма, который и послужил главной причиной успеха большевиков. Большевики опираются на проклятый максимализм русской души, на ее анархический хаос. Этот хаос, эта религия нигилизма призвала их к власти, и она же удерживает их у нее».

Да, несомненно, большевики долгое время пользовались русским хаосом, пугачевщиной, они опирались на наш максимализм. Но именно поэтому нельзя называть русскую анархию и хаос большевизмом. Они инопланнны ему, они стихийны, зоологичны, греховно-душевы, а большевики и страшные дела их сознательны, систематизированы, *злодуховны*. Наши грехи, пороки и преступления отдают нас во власть дьявола и его приспешников, но это еще не значит, что мы сами дьяволы служители. Нет, приближают нас к бесовщине, к одержимости, не вожделения этнической стихии, но лишь вполне *сознательный, систематизированный, интеллигентский нигилизм*. Первые большевики — Ленин, Троцкий, Чичерин и многие другие — были типичнейшими русскими интеллигентами-нигилистами. Только безрелигиозное, атеистическое сознание, порождающее и оправдывающее внежизненные, мертвые абстракции, ведет человека к

большевизму, к полной, бесповоротной духовной гибели. Но психическое, душевное падение может быть искуплено раскаянием, отказом от греха.

Салтыков ошибочно называет русскую тягу к анархии и хаосу «первобытным большевизмом». Все первобытное, варварское — натурально, природно, а большевизм, будучи явлением беспримесно-злодуховным, внеприроден, он не имеет земных бытиевых корней и по самой своей сути он — паразитарен. Большевик по отношению к русскому народу — варяги навыворот, интервенты наоборот. Большевиков прекрасно характеризует маленький пассаж из Гоголевского «Ревизора». На вопрос слуги городничего Мишки — скоро ли прибудет генерал, т. е. Хлестаков, Осип, слуга Хлестакова, отвечает вопросом:

— Да какой он генерал?

— А разве не генерал?

— Генерал, да только с другой стороны.

— Что ж это, больше или меньше настоящего генерала?

— Больше.

— Ишь ты как! То-то у нас сумятицу подняли.

Большевики есть нечто большее, чем русская пугачевщина и анархия. Они вообще являют собою наибольшее зло. Принимая их за генерального ревизора нашей совести, возжелавшей пресловутой социальной справедливости, мы на радостях подняли сумятицу. Но большевики не сумятица, не анархия, не хаос, но величайшая дьявольская ложь, приведенная в систему, подмена любой реальной правды лживым подобием истины. Они — лжерелигия, лжеимперия, лжегосударственность, лжевласть, лжеиерархия и одновременно лжеравенство. Им удалось установить на земле адов прообраз. Но живая человеческая душа не хочет ада, и большевики стремятся обратить живого человека в послушный автомат, вытравить из него образ Христов, проделать над русской душой опыт, прямо противоположный вековым устремлениям церкви и самодержавия. И в этом противополжении, судя по сливающимся воедино чаяниям Константина Леонтьева и Достоевского, залог нашего грядущего спасения.

Душа целого народа раскрыла свои тайники и воочию показала миру правоту Достоевского, утверждавшего, что душа человека — арена борьбы Бога и дьявола. Но исход такой, для всех теперь явной, борьбы тем самым предрешен заранее. Ведь именно потому, что тайное стало явным, изобличается и изживается зло, обнаруживается дьявольская суть большевизма, а по пути и злая немощь, бледная немощь так называемого эгалитарного демократического прогресса, завещанного нам братоубийственной французской революцией.

Преклоняясь перед деяниями отцов, возвеличивая Отечество, Салтыков, вслед за Константином Леонтьевым, как бы совсем забывал о глубинах Матери-Родины и ее женственной плодоносящей сущности. Как для Константина Леонтьева, так и для Салтыкова, зиждательная Идея, насаждаемая и прививаемая отцами, творческие деяния отцов, Отечество, дороже России-Родины, России-Матери. Салтыков мог бы повторить, да часто и повторял, вслед за Константином Леонтьевым:

«Я не понимаю французов, которые умеют любить всякую Францию и всякой Франции служить. Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения и Россию всякую я могу разве, по принуждению, выносить. Избави Боже большинству русских дойти до того, до чего шаг за шагом дошли уже многие французы, т. е. до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить... На что нам Россия не монархическая и не христианская»

Думая и говоря так, прав ли был Константин Леонтьев, а вслед за ним прав ли был Салтыков, открыто присоединявшийся к таким утверждениям?

Пишущий эти строки несколько не хочет скрывать, что и сам он подвержен тому же соблазну, тому же искушению. Да и только ли здесь один соблазн, только ли одно искушение? За словами Константина Леонтьева стоит уже сама по себе великая, решительная и мужественная правда. И надо прямо, раз и навсегда признать, что русское народничество реакционного и революционного толков, всех видов и подразделений, принизило и опозорило самую идею Родины,

превращая народ — начало биологическое, от века или бунтующее, или пассивно ожидающее своего духовного оплодотворения, — в самоуправного вершителя собственных, неизменно бездарных и серых судеб.

Замечательные положения, мысли и открытия Салтыкова потому заострены до непримиримости, что нужна же была резкая отповедь, суровая реакция в ответ на подмену, совершенную правыми и левыми народниками, подмену духовно аристократической идеи нации призрачным домислом о суверенности черного народа, толпы.

Российскую Империю, погубили призраки и домислы, вызванные из небытия, из ничтожества, болезненным, но дружным натиском интеллигентской, разночинской и барской фантазии.

Совершив подмену, мы предрешили тем самым революционный декаданс и деградацию, ибо революция и есть не что иное, как злостное деклассирование людей и идей, неизменно свершающееся в двух направлениях — вниз и вверх. Причем человек, дотоле стоявший на одной из верхних ступеней социальной иерархии, будучи сброшен революцией вниз, хоть и чувствует себя и в тесноте и в обиде, но внутренне остается самим собою, себя духовно не утрачивает. Зато горе человеку, внезапно вознесенному революцией из низин на высоту. При таком незаконном, карикатурном взлете, он неизбежно теряет собственную личность, становится пародией на самого себя, обезьяной, имитирующей человеческие жесты, попугаем, механически повторяющим непонятные ему слова.

Что же касается самих идей, смещаемых, деклассируемых революцией, то они бесповоротно лишаются, в ходе революционных событий, своего реального содержания. Так, например, христианская идея любви к ближнему, искусственно перенесенная из внутреннего, личного мира каждого отдельного человека во внешний социальный план, незаконно обобщается, превращается в абстрактный, внежизненный домисел о несуществующей любви к дальнему.

«Возрождение» потому давало волку колющимся заост-

рениям Салтыкова, что не только считало необходимым, но и ощущало внутреннюю повелительную потребность дать решительный и одновременно органический отпор всем злокачественным народническим чувствованиям и теориям, погубившим наше Отечество. В сущности, «Возрождение» ничего отвлеченно не учитывало и не рассчитывало. Оно, прежде всего, жило своей сложной органической жизнью, являло собою в душевном и духовном отношении живой организм.

Оно было умственно-сердечным центром, средоточием белой идеи, добытой подлинными россиянами кровью, страданием и жертвой.

Коренные возрожденцы не могли и не хотели отделить всего умственного от сердечного и вместе, в целом, они были соборным организмом, отражающим чаяния не интеллигентских теоретиков, а русских людей, прошедших через жизненно-действенный трагический опыт. Потому, между прочим, дало место «Возрождение» рудиментарным, подчас вульгарным статьям Сазановича, расчищавшим в ударном контрреволюционном порядке идейные пути и перепутья, загаженные писаниями Чернышевских и Добролюбовых. Статьи Сазановича были уступкой, сделанной «Возрождением» законным требованиям рядовых участников гражданской войны. Однако, эти статьи, как и политическая полемика с «Последними Новостями» Милюкова и вообще с левой печатью, были для «Возрождения» лишь внешним эпизодом, данью злободневности. По существу же своему, оно было неизмеримо выше и глубже того, что принято называть ежедневной и еженедельной газетой. По настояниям своего издателя, «Возрождение» называлось печатным органом русской национальной мысли. Таким оно поистине и было. Серьезнейшие политические, историсофские и литературные статьи, повести и рассказы, печатавшиеся в «Возрождении», возводили его на уровень наших лучших ежемесячных журналов доброго царского времени. В этом, и не только в этом, большая заслуга А. О. Гукасова. Он сразу же понял, что в зарубежных условиях русская эмигрантская газета должна

принять новые формы, новое, необычное для ежедневной печати содержание.

В своей глубине понесло «Возрождение» отображение Креста, свыше данного русским людям во искупление революционных злодеяний.

15

О Кресте, возложенном на нас, первым в «Возрождении» явно заговорил Борис Зайцев. Этот русский писатель, по свойствам своего глубоко лирического дарования, далекий от политических бурь и битв, этот художник слова, возмущенный, потрясенный всем нам памятным похищением Кутепова, в порыве скорби и негодования подлинно вышел из себя, порвал заповедный круг искусства и сказал нечто важное и глубокое о нашей горестной жизни, о нашей русской, столь необычайной и страшной судьбе. Свою заметку в «Возрождении» Борис Зайцев так и озаглавил: «Крест».

«...На Кресте наша Родина, что говорить: распинают ее, на наших глазах распинают, что ни день, глубже вбивают гвозди. Не снегами занесло, страшная, клубящаяся туча, с дьявольским заданием: «в пять лет все «дезинфицировать», все уничтожить, выморить... голого дикаря посадить на престол славы.

...Сейчас страдные дни для нас русских. На какое ни гляди небо, на какие каштаны, озера — облик Креста заслоняет все. Он дан нам теперь здесь просто, зрительно: человек с черной бородой, которого на днях еще встречали в церкви, сильный, крепкий, упорный — ныне принял этот Крест, за Россию и за нас всех. В хмурый вечер, сырой и туманный, был я на молебне в церкви галлиполийцев. Вот уж где нет «туалетов». Шоферы, рабочие барышни, дамы в потертых пальтишках, без завтрашнего дня, без текущих счетов, — мы стояли и молились «о здравии воина Александра», и надо верить, и надо молиться, сколько бы ни было сердце «*mag grosso*». «Слышишь ли меня, батько?» — спросил Остап. «Слышу, сынку!» — отвечал Тарас Бульба. Было ощущение: да поддержит ток добра, из Церкви излучавшегося, «воина

Александра» в горчайшие, может быть самые грозные минуты его. Если же жизни физической, страшного марева, в котором бьемся, уже для него нет, то в ином, верим, светлейшем, чем наш, мире да сольются наши чувства, в таинственных излучениях своих с его душою.

Я почти не знал лично Кутепова — раза два-три приходилось здороваться. В церкви галлиполийцев видел супругу его — Л. Д. Кутепову — Голгофу живую. И теперь все это стало своим, как бы родным. Мне не важно знать, такой или этаким был Кутепов, сколько у него врагов, сколько друзей. Сейчас он — знамя мученичества, знамя России распинаемой, он не может, не может не быть своим каждому русскому... Горе сближает, но и проводит грань. Кто с тобой чувствует, тот свой. Кто против тебя, от того отойду. Пусть он отличнее, он уж не мой.

— Ну и что же дальше? — спрашивает некто. — Что делать с этой общностью чувств? Вообще: что делать, чего ждать?

— Делать?.. Все то же, что делали...

А дальше идет вера. В силе — ждать. Не вечно так будет. Из скопившегося может грянуть такой гром, такая молния, что зашатается сатанинский престол. Когда это будет — не знаем. Но нас этот час должен застать бодрствующими, не расслабленными и не падшими.

Кутепову дан Крест тягчайший. У каждого из нас есть свой, меньший и больший, но отказываться от него нельзя — а друг друга поддерживать и ободрять, жить — необходимо».

Повторяя выражение Бориса Зайцева, оброненное им о Кутепове, скажем и мы о «Возрождении», что оно всегда хотело быть и было знаменем России распинаемой. И это ставило его неизмеримо выше злободневности, ибо ужас, творящийся в России, есть не злоба дня, но вечное дьявольское зло, испытующее нас во времени.

И я уверен, что и Струве, и Семенов, и все коренные возрожденцы, ныне покойные, безоговорочно согласились бы с моим определением духовной сущности «Возрождения».

Согласятся со мною и оставшиеся в живых ближайшие сотрудники «Возрождения». И несомненно первым из них согласится с нами Борис Зайцев, скорбные, крестные слова которого я только что приводил. Эти крестные слова определили духовное средоточие «Возрождения». Осветили они для нас и нечто важное в творчестве самого Бориса Зайцева. Он всегда избегал так называемых публицистических выступлений и изъявлений, он хотел быть и неизменно оставался только художником. А искусство не терпит грубой прямолинейности, не выносит, хотя бы и самых искренних, чувствительных излияний и откровенностей. Искусство сдержанно, иносказательно, символично и потому сокровенно. Оно живет оформлением, любит строгие пределы. Оно в лучшем значении этого слова ограничено, ибо вдвинуто в грани. И тот, по утверждению Гете, не художник, кто не умеет себя ограничивать. Тем многозначительнее и ценнее бывает неожиданный выход художника из заповедного круга искусства, вызванный непосредственным созерцанием свершающейся в жизни трагедии, острой жалостью и состраданием.

Кроме своего искусства, вопреки уверениям критиков совсем не «задушевного», не «вдумчивого» и не «теплого» и, следовательно, не мягкотелого, а напротив того, сосредоточенного в себе, зоркого и подобранного, Борис Зайцев, страдая Кутепову — «знамени мученичества, знамени России распинаемой» — оставил «Возрождению» еще и частицу собственного живого и трепетного сердца, внезапное отражение своего человеческого «я». Свет этого обычно сдержанного «я», разливающийся в творчестве Зайцева ровно и волшебным, приняли критики за «теплоту» и «задушевность». Между тем, суровая словесная дисциплина, обретенная Зайцевым на путях его долгого служения искусству, оказалась столь нерушимой, что даже изменяя в порыве скорби обычным для него формам повествования, переживая открыто горькую судьбу Кутепова, он не забыл основных заветов искусства — градации и отбора, достигаемых в искусстве неумолимым вкусом и осуществляемых в жизни, прежде всего, строгим в своей правдивости религиозным чувством.

Глядя в поглотившую Кутепова бездну, скорбя и сетуя, Зайцев не потерял духовного самообладания и нужный отбор произвел: «кто с тобой чувствует — тот свой, кто против тебя — от того отойду. Пусть он отличное, он уже не мой».

Нации состоят не из миллионов, но из отдельных избранных. Своим искусством, своим словом о знамени России распинаяемой, Борис Зайцев показал, что он и есть один из этих избранных — художник тонкий и глубокий, верный служитель белой идеи, — достойнейший сотрудник «Возрождения».

Вот краткие, сухие сведения о жизни и литературной деятельности Бориса Константиновича Зайцева, по моей просьбе им самим любезно мне предоставленные:

«Я родился в Орле, 29 января 1881 г. Раннее детство мое прошло в Калужской губ. — отец управлял Людиновским заводом (он был горный инженер).

В 1898 г. я окончил Калужское Реальное училище, затем учился в Имп. Техн. училище в Москве, в Горном институте, Московском университете, но дорогу свою нашел лишь в писательстве.

На первых порах поддерживали меня тут А. П. Чехов и Л. Н. Андреев — о них сохраняю благодарное воспоминание. В 1901 г. в московской газете «Курьер» появился мой первый рассказ. За ним следовали другие. В 1902 г., после рассказа «Волки» в сборнике кружка «Середа», меня приняли в этот кружок, где главенствовали писатели уже известные: Андреев, Бунин, Вересаев, Телешов, а наезжая в Москву, появлялись Чехов, Горький, Куприн, Короленко. В серьезном, благожелательном воздухе этой «Среды» и прошла моя литературная юность.

В литературе я выступил под знаком импрессионизма и лирики — с маленьким «бессюжетным» рассказом — поэмой. Первая моя книжка вышла в 1906 г. в изд-ве «Шиповник» (СПБ). В первый же год разошлось три ее издания, критика приняла ее хорошо. Открылся путь во все толстые журналы того времени, но главнейше печатался я в альманахе «Шиповника» и др. молодых и модных изданиях.

В 1902 г. женился на В. А. Орешниковой, дочери известного московского нумизмата А. В. Орешникова. В 1917 году, во время войны, окончил Александровское военное училище, был выпущен в 192-й пех. полк и летом того же года переведен в артиллерию, но на фронт не попал: война кончилась.

В 1922 г. с женою и дочерью уехал в Германию. В Берлине в том же году вышло собрание моих сочинений, в шести книгах — повести и рассказы, в изд. Гржебина. (Первый же роман «Дальний Край» появился в России еще в 1914 г., позже тоже в Берлине, в изд. «Слово»).

Проведя год в Германии и четыре месяца в Италии, я поселился с семьей в Париже, где и печатался в разных изданиях, выпускал и отдельные книги. Тут вышли мои романы «Золотой Узор», «Анна», «Дом в Пасси», сборник рассказов «Странное путешествие». А также «Жизнь Тургенева», «Преп. Сергей Радонежский», «Афон», «Валаам» и пр. Наконец, самое обширное мое произведение — «Путешествие Глеба» (трилогия: «Заря», «Тишина», «Юность»).

Более крупные мои вещи печатались обычно в «Совр. Записках». Мелкие и отрывки из крупных главным образом в «Возрождении» — в течение почти пятнадцати лет. (Большая часть «Афона», весь «Валаам», части «Тургенева», «Путешествие Глеба»). Вел я там также «Дневник писателя» — поместил ряд фельетонов, преимущественно на литературные и религиозные темы. В издательстве же «Возрождение» вышли две упомянутые выше мои книги — «Странное путешествие» и «Тишина». Сотрудничая сейчас в газете «Русская Мысль», печатаюсь и в тетрадях «Возрождения», связан давними и добрыми отношениями и с издателем его, и со многими сотрудниками. Многих из сотоварищей довелось проводить в жизнь вечную — совсем недавно И. С. Шмелева. Неизвестно, кто кого будет провожать дальше, во всяком случае многолетняя, теперь уже тридцатилетняя связь не порывается.

Многие мои книги и произведения переведены на иностранные языки (франц., англ., немецкий, итальянский и др. Также на японский). В России, в начале революции, я был Председателем Москов. Союза Писателей (без коммунистов). Ныне состою Председателем Парижского.

Как это ни странно, как это ни парадоксально на первый взгляд, но развитию имперской идеологии в «Возрождении», хотя невольно и косвенно, а все же значительно помогали литературные статьи В. Ф. Ходасевича. Конечно, политически Ходасевич был чужд «Возрождению». Он в свои молодые годы воспитался в среде писателей-символистов, создававших у нас в самом начале XX века новую, во многом ценную и плодотворную литературную школу, вернее же литературное течение. Но если эстетически удалось символистам победить рутину, казалось навсегда утвердившуюся в русской литературе конца XIX века, то политически, по крайней мере по видимости, они ничем не отличались от партийных рутинеров 80-х годов и пребывали по старинке интеллигентскими либералами, идущими, по наивности и по разным сторонним соображениям, в хвосте революционного радикализма (Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, Андрей Белый, Блок), или же превращались до поры до времени, как например В. Брюсов, в черносотенцев по расчету. Словом, политический облик символистов частично зависел от чисто внешних обстоятельств, частично же от рутины и от сознания непроверенных, воспринимаемых эмоционально народнических веяний. Говоря вообще, символисты сознательно и бессознательно содействовали у нас политическим шатаниям, государственной неустойчивости.

Однако, помимо политики, религиозно-эстетические веяния вели символистов к первоисточкам российской литературной культуры, преимущественно к Державину, Пушкину, Баратынскому, Лермонтову, Тютчеву, Фету, Случевско-

му, Гоголю и Достоевскому. В борьбе с утвердившейся у нас в 80-х годах прошлого века беспросветной порожденной в литературе предвзятой идейностью, символисты научились воспринимать по новому форму, а следовательно и содержание, творений российских классиков. Подобно нашим иконографам, снимавшим с древних икон позднейшие ремесленные наслоения красок, они словом живым и новым счищали с произведений прежних писателей и поэтов серую шелуху, образовавшуюся на них от варварских разглагольствований Чернышевских, Скабичевских и Михайловских. Хотели ли того символисты или нет, — вернее всего, что не хотели, — но производимая ими религиозно-эстетическая реставрация русской поэзии и художественной прозы неминуемо приводила к восстановлению подлинного человеческого, политически-государственного и сословного облика каждого из наших вечных спутников. Под спадающей шелухой обнаруживался цельный, нетронутый тлением, образ великого творца, сословного и государственного человека, представление о котором искажено лишь в нашем воображении, развращенном писаниями Белинского, принятыми к руководству нашей средней и высшей школой.

Политические воззрения Ходасевича, никогда не порывавшего с духовными традициями символистов, все же вряд ли установились окончательно даже в его зрелые годы. Во всяком случае они во многом зависели от различных новонароднических идей и теорий и были чуждыми белой идее и имперской идеологии, развиваемой «Возрождением». Но религиозно-эстетический путь, некогда проложенный символистами и вслед за ними избранный Ходасевичем, был верен и привел этого поэта к глубокому пониманию словесного искусства, в частности, к безошибочному постижению и толкованию творчества Державина и Пушкина. Нужды нет, что временами, вспоминая о своих демократических воззрениях, он пробовал довольно неискустно приписать Державину политические мнения, всячески ему чуждые. Образ Державина, как поэта, сановника и человека, весь до глубины пронизан державными токами; он насыщен не отвлечен-

ными интеллигентскими принципами, но российскими имперскими флюидами. Напрасно, подражая своим старшим литературным собратям, пытался Ходасевич приписать Державину несколько вольное отношение к монархической идее и к самой особе богопомазанного монарха. По словам Ходасевича, Державин с годами утратил веру в ореол религиозного освящения, присущий самодержцу, и стал поборником уже не Богом, а всего лишь законом утверждаемого, демократически справедливого мужицкого царя. Но ведь все существо Державина, как поэта, сановника и человека, противоречит такому, его именем производимому, отделению религиозных начал от основ государственных.

Говоря о Пушкине и его творчестве, Ходасевич прибегал временами к иному приему: он по возможности старался умолчать о любви Пушкина к сословному аристократизму, которым, как известно, поэт дорожил чрезвычайно и совсем не случайно. Любовь к самой идее строгой сословности была непосредственно связана у Пушкина с его имперскими чувствованиями, с его стремлением к сложному цветению в искусстве и государственной жизни, к цветению многообразно-цельному, либерально-консервативному.

Не всегда свободный от интеллигентского сектантства, Ходасевич, касаясь Державина и Пушкина, казалось, боялся взглянуть нелицеприятной правде в глаза. Он пытался «препарировать» особого, слегка интеллигентского, Пушкина и особого, отчасти народнического Державина. Но из этой попытки, к счастью, ничего не вышло. Верный в религиозно-эстетическом отношении подход к великим поэтам даровал Ходасевичу прозрачный и четкий язык, почти непогрешимый вкус и способность умного проникновения во все детали словесного искусства, в особенности стихотворного. Ходасевича, большого поэта и замечательного историка литературы, можно и должно назвать наследником пушкинской языковой культуры, разумея под языком стиль, построение речи, ее самую интимную ритмическую поступь.

Литературные статьи Ходасевича, систематически появлявшиеся в «Возрождении» в течение 12-ти лет, имели гро-

мадное влияние на русских молодых литераторов, развивавшихся в эмиграции. Эти статьи воспитывали в читателях вкус, напоминали им о дисциплине слова, а, следовательно, и духа, они неуклонно продолжали дело Пушкина и, тем самым, хотел ли того Ходасевич или не хотел, — дело Петра Великого.

По крови, со стороны отца, поляк, еврей со стороны матери, католик по вероисповеданию, Ходасевич был типичнейшим россиянином, порождением нашей имперской культуры, и никакие узко националистические соблазны не могли отклонить его от российских духовных предначертаний и связанной с ними нашей горькой эмигрантской судьбы.

Ходасевич умер 53 лет отроду, умер потому, что высказал, как художник, все то, что свыше было ему предназначено высказать, умер потому, что в глубине его существа, по собственному его выражению — «прорезываться начал дух, как зуб из-под припухших дёсен». И недаром Ходасевич, именно он, оставил нам в своей поэзии творческое определение метафизики старости, старческой духовной простоты и умудренности:

Когда б я долго жил на свете,
Должно быть на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей.

Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам.

Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша
И небом невозбранно дышет
Почти свободная душа.

«Владимир Фелицианович Ходасевич родился в Москве 29-го мая 1886 года, окончил III-ю Московскую гимназию, слушал лекции в Московском университете. Стихи начал писать с детства, печататься — с 1905 года. Первая его книга называлась «Молодость» (изд. Гриф), затем — последовал «Счастливый домик» (1914 г. изд. Альциона). Во время первой мировой войны переводил польских, армянских, еврейских поэтов; в 1920 году (в изд. «Творчество», Москва) издал третью книгу стихов — «Путем зерна», а в 1922 году — статьи о русской поэзии (изд. «Эпоха», Петербург).

До 1921 года жил постоянно в Москве. С этого года переехал в Петербург, где пробыл два года, после чего выехал за границу. Здесь жил сначала в Берлине, потом в Италии. С 1925 года окончательно поселился в Париже, а с 1927 года стал постоянным сотрудником газеты «Возрождение», где каждый четверг, вплоть до самой своей смерти, 14 июня 1939 года, писал на литературные темы обширные статьи, а также вел отдел литературной (советской) хроники, подписывая ее «Гулливер». Привлек в газету молодых сотрудников. Занимался в эти годы усиленно Пушкиным и Державиным, биографию которого издал. В 1927 году в издательстве «Возрождение» — вышло его собрание стихов, в которое он не включил первые свои две юношеские книги и которое содержит в себе целиком сборник «Тяжелая лира», вышедший перед самым его отъездом из России и переизданный в 1923 году в Берлине, сборник «Путем зерна» и отдел стихов, написанных в эмиграции (1922-1927 гг.), под названием «Европейская ночь».

После 1927 года, Ходасевич почти не писал стихов. Их можно собрать не более 10-15-ти за последние двенадцать лет его жизни. Перед смертью вышла его книга воспоминаний — «Некрополь» (изд. Петрополис), содержащая статьи о поэтах-современниках, а также о М. Горьком.

Биографию Пушкина Ходасевичу написать не удалось. После него остались только наброски к ней и первые главы, которые он отчасти успел напечатать. Но в 1937 году вышла

его небольшая книга о Пушкине, содержащая ряд статей на пушкинские темы.

За годы эмиграции он сотрудничал почти во всех эмигрантских изданиях и был постоянным и близким сотрудником «Современных Записок».

Болезнь печени обнаружилась у него в 1939 году. Он сильно страдал и после операции скончался в Париже, не приходя в сознание. Похоронен он на кладбище в Бианкуре.

Библиотека его и вся квартира погибли во время немецкой оккупации, но часть бумаг сохранилась. Неизданных вещей после него не осталось, кроме различных набросков и отрывков. Остались письма к нему Горького, Белого, З. Гиппиус, Бунина и других.

О Ходасевиче см.: «Современные Записки» № 70, статьи Н. Берберовой и В. Сирина, книгу В. Вейдле «Поэзия Ходасевича» (изд. «Совр. Записки»), статью А. Белого «Тяжелая лира и русская лирика» («Совр. Зап.» № 15), газеты «Возрождение» и «Последние Новости» от 15, 16, 17, 18 июня 1939 года.

В советской России книги Ходасевича не читаются и имя его не появляется в печати, как непоколебимого антибольшевика.

17.

Андрей Митрофанович Ренников, один из коренных и самых видных сотрудников «Возрождения», хотя и был известен всей читающей России, но по достоинству до сих пор все еще не оценен. Виной тому, как это ни дико звучит, его участие в лучшей, самой культурной российской газете — «Новое Время». Этого сотрудничества русские литераторы «интеллигентского» склада не прощали своим собратьям по перу. На имя Ренникова революционно настроенными русскими кругами был наложен запрет. Можно сказать, что его, как писателя и журналиста, очень любила широкая публика и всегда ненавидела либеральная русская пресса. Именно

этим объясняется, что, при большой известности, Ренников был обойден так называемой критикой. Характеризовать Ренникова, как писателя, в частности, как юмориста, в нескольких словах невозможно; для этого нужна особая, обстоятельная статья.

А. М. Ренников, по окончании физико-математического и историко-филологического факультета, был оставлен при Новороссийском университете по кафедре философии. В Одессе был сотрудником «Одесского Листка». С 1912 года в Петербурге был сотрудником и редактором отдела «Внутренних Известий» в «Новом Времени».

В эмиграции был сотрудником и помощником редактора в белградском «Новом Времени».

С 1926 года был постоянным сотрудником «Возрождения».

В России, помимо газетных статей, А. М. Ренников, выпустил в свет несколько романов, книг публицистического характера и по философии («Оправдание науки», «О психофизическом законе Вебера-Фехнера», «Этика Вундта» и статьи в «Вопросах психологии и философии»).

В эмиграции — автор нескольких романов и пьес из жизни русских эмигрантов.

В ответ на мою просьбу к А. М. Ренникову, ныне проживающему в Ницце, прислать о себе краткие автобиографические сведения, мною было получено от него следующее письмо:

«Дорогой Георгий Андреевич,

Своим предложением сообщить Вам кое-какие данные о моей прошлой деятельности Вы ставите меня в очень затруднительное положение. Прежде всего, я не уверен, была ли у меня вообще какая-нибудь деятельность. Во всяком случае я ясно помню, что в Петербурге, когда я работал в «Новом Времени», служившая у нас горничная — на вопрос любопытных соседей по дому: — «чем ваш барин занимается», — твердо ответила: — «Наш барин ничем не занимается. Он только пишет».

Ну, вот. А затем должен сказать, что я никогда в жизни не писал ни мемуаров, ни «Исповедей», а потому не имею никакого опыта для того, чтобы «Исповедь» вышла искренней. Мне, например, страшно трудно путем самоуничтожения возвеличить свою личность, как это мастерски делал Л. Толстой; или обрисовать блеск своих талантов, не хваля себя, а понося за бездарность других, как это делают в своих воспоминаниях некоторые наши бывшие министры или академики.

Скажу о себе кратко только следующее: что я считаю себя в выборе всех профессий, за которые брался, полным неудачником, каковым остаюсь и до последнего времени.

В самом деле. В раннем детстве мечтал я сделаться великим музыкантом, для чего усиленно играл на скрипке и занимался теорией музыки. Но из меня в этой области не вышло ничего, так как я не последовал русской музыкальной традиции: не поступил во флот, как это догадался сделать в свое время Н. А. Римский-Корсаков, не занялся химией, как А. П. Бородин, и не стал профессором фортификации, как Цезарь Кюи.

Бросив музыку, я решил писать детские сказки, на подобие «Кота Мурлыки». Писал их с любовью, со вдохновением. Но из сказок тоже не вышло ничего: автор «Кота Мурлыки» Н. П. Вагнер был профессором зоологии и открыл педогенезис, а я зоологией не занимался и педогенезиса не открыл.

Тогда, смекнув в чем дело, решил я взять быка за рога: намереваясь вместо сказок приняться за серьезную изящную литературу, стал я увлекаться математикой и астрономией, вполне справедливо считая, что достигнув впоследствии поста директора Пулковской обсерватории и открыв несколько астероидов, я сразу займу одно из первых мест в мировой беллетристике.

Но в моих планах оказался какой-то просчет. Окончив университетский курс, поступил я в обсерваторию, выверял уровни, работал с микрометрическими винтами приборов, сверял хронометры-тринадцатибойшики, а беллетристика моя не двигалась, особенно в области юмора и сатиры. И вот,

однажды, читая Чехова, я неожиданно сообразил, в чем дело: чтобы быть юмористом, нужно заниматься вовсе не астрономией, а медициной, судя по карьере Чехова. Ничто так не развивает юмористического отношения к людям, как анатомический театр, фармакология, диагностика и терапия.

Я немедленно бросил астрономию, поступил снова в университет, но, чтобы не вполне подражать Чехову, выбрал себе специальностью философию и остался при университете, лелея мысль, что теперь-то как следует продвинулся на верхи литературы, напишу что-нибудь крупное, вроде «Войны и мира», или не напишу ничего крупного, но все-таки сделаюсь академиком.

Прошло некоторое время... Моя «Война и мир» не появилась. Вместо этого события, Россия всколыхнулась гражданской войной, советским миром... И я побежал, куда все.

Только за границей, подводя итоги крушению своих честолюбивых замыслов, я сообразил, наконец, почему не заменил собою Толстого и даже не попал в академики. Я, оказывается, переучился на двух факультетах. Ведь Толстой окончил университета, а я кончил. Бунин не окончил гимназии, а я кончил. Нужно было принимать какие-то спешные меры, чтобы забыть лишнее... И я стал усиленно писать в газетах и заниматься политикой, ибо ничто так хорошо не очищает голову от серьезных сведений, как политическая деятельность.

Что же сказать в заключение? Мечты своей написать «Войну и мир» я, конечно, не оставил. Что выйдет, не знаю. Но до сих пор, стремясь к вершинам искусства, стараюсь я применять испытанные обходные пути. Во флот мне, правда, поступать поздно; идти в профессора химии и зоологии, или изучать фортификацию — тоже. Зато сколько других боковых лазеек за последнее время прощупал я. Крестословицы составлял, башмаки из рафии шил, плюшевые игрушки делал, курятники на фермах чистил, огороды разводил, ночным сторожем был, шить на швейной машинке научился...

Что же? Неужели же я никогда не попаду в точку? Обидно!

И вот единственным утешением в таком случае останется мне Державин. Как известно, старик Державин, заметив всех нас, кому не везет, с утешением сказал: «Река времен в своем движении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если, — успокоительно продолжает старик, — если что и остается от звуков лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы».

Ну, а тогда все равно. Помнят ли тебя после смерти сорок дней, сорок лет, четыреста, или четыре тысячи.

Люди вообще народ забывчивый. Особенно — читатели.

Преданный Вам А. Ренников.

P. S. Когда будете печатать эту мою «Исповедь» («Confessions»), сообщите публике, что я не хотел обнародовать изложенных в ней интимных мыслей, но что между нами по этому поводу произошел жестокий спор, и Вы победили.

Это обычно вызывает усиленный интерес к написанному.

А. Р.».

18.

Единственный сын профессора Императорского СПб университета, потом академика и неперменного секретаря Императорской Академии Наук, С. Ф. Ольденбурга, Сергей Сергеевич Ольденбург учился в Московском университете на юридическом факультете. В Москву он попал потому, что здесь жили друзья его отца.

Мать Сергея Сергеевича умерла вскоре после рождения сына. О мальчике заботились друзья, главным образом семья московского профессора В. И. Вернадского и петербургского профессора И. М. Гревса. Это была группа ближайших друзей, под кличкой «Приютино», между которыми существовали братские отношения. Она состояла из видных университетских и земских деятелей: С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбургов, проф. И. М. Гревса с женою, проф. В. И. Вернадского с же-

ною, князя Д. И. Шаховского, А. А. Корнилова. Либералы, близкие участники издательства заграничной газеты «Освобождение», которую редактировал П. Б. Струве и затем видные члены-учредители кадетской партии, жили в самой тесной дружбе, братски помогая друг другу. Главный центр их деятельности находился в Москве. Этим и объясняется, что С. С. Ольденбург учился в Московском университете, в то время, как отец его жил в Петербурге.

И вот тут, живя в Москве, в самом центре деятельности кадетской партии, находясь постоянно в квартире В. И. Вернадского, бывшей, если можно так выразиться, — штаб-квартирой партии, С. С. Ольденбург проявил характерную для него особенность. Он был одним из основателей студенческого кружка партии октябристов, враждовавшей, как известно, с кадетами. И из квартиры Вернадского он по «кадетскому» телефону вел свои партийные октябрьские переговоры, чем немало возмущал Н. Е. Вернадскую, которая никак не могла понять странного упорства «Сигуни», как она называла С. С. Ольденбурга.

В это же время, проходя курс юридического факультета, Сергей Сергеевич стал писать стихи и мелкие рассказы. Рассказы эти были совсем недурны, — очень живые, написанные хорошим языком. Почему-то он не упорствовал в этом направлении, забросив первые свои литературные попытки и сосредоточившись на политике.

Во времена Добровольческой армии Сергей Сергеевич находится на юге России, преданный Добровольческой армии до конца. Его преданность какой-нибудь идее, какой-нибудь мысли, шла всегда до конца. Он неспособен был не только лгать, но даже немного покривить душой. Никакие расчеты личного характера, никакие соображения страха или даже простой дипломатии не могли заставить его сказать что-нибудь, что не соответствовало бы хотя бы в малейшей степени его мыслям и чувствам. Именно так он и был предан «белой идее», органически чуждый какого бы то ни было желания вступить в соглашение с большевиками. Во время отступления армии из Ростова он был болен тифом, лежал в больни-

це и попал в плен к большевикам в полубессознательном состоянии. Так он физически оказался по ту сторону баррикады. По выздоровлении, он перебрался в Петербург, где поселился в квартире отца, успевшего за это время приспособиться к большевикам и сохранить за собой казенную квартиру генерального секретаря Академии. Тут он пережил драму, которую он затаил в своей душе. Единственный сын, очень любивший своего отца, он разошелся с ним в вопросе о приятии большевизма настолько, что однажды пешком перешел границу и оказался в Финляндии эмигрантом, в лагере, враждебном его отцу. Когда отец его приезжал в Париж из советской России в официальные советские командировки, он виделся с сыном, но свидания эти едва ли могли быть приятными им обоим. Во всяком случае, С. С. Ольденбург никогда в своей единомышленной среде не говорил об отце.

Его работа в «Возрождении» прошла у всех на глазах. Знавший в совершенстве несколько языков, обладавший исключительной памятью, С. С. Ольденбург никакого газетного сведения, никакой агентской телеграммы или телеграммы собственных корреспондентов не принимал на веру. Он все подвергал строгому анализу, который был ему доступен при его знании мельчайших событий из истории не только России, но и всех народов земного шара. Он с такой же свободой мог говорить о диктатуре южно-американских республик или о нравах жителей Кордильер или маленьких островков Тихого океана, как и об истории Петербурга и его жителей. Пока «Возрождение» было ежедневной газетой, он составлял первую страницу газеты, — политическую информацию текущего дня.

Памятные всем забастовки июня 1936 года превратили насильственно «Возрождение» из ежедневной в еженедельную газету. С. С. Ольденбург крайне болезненно переживал и самую забастовку, и изменение вида газеты. Тогда, под влиянием волнения, сказался в нем тот недуг, который унес его в могилу. Чувствуя недомогание, он обратился к врачу, который нашел у него чрезмерно повышенное давление. После месячного отдыха, Сергей Сергеевич вернулся к работе.

В сентябре 1939 года идейный хаос во всем мире, в связи с начавшейся войной, глубоко потряс непримиримого противника большевизма: он никак не мог разрешить вопроса, что же происходит в Европе. Одни вчера шли на дружбу с большевиками, другие сегодня с ними подружились, — на чьей стороне правда и где неправда.

В конце сентября 1939 г. С. С. Ольденбург тяжело заболел. Опять чрезмерно высокое давление, резкий упадок деятельности сердца и общее ослабление организма чуть было не довели его до слепоты. Два месяца пролежал он в больнице, поправился, вернулся к работе, но уже в таком виде, что на всех производил впечатление человека, о котором говорят: «он уже не жилец на этом свете». За десять дней до Пасхи 1940 года простудился, у него сделался жар, сердце не вынесло жара, и в Пасхальную Ночь, 28 апреля, после розговен с дочерьми и с племянником, почувствовал себя плохо, и через несколько минут жизнь его оборвалась.

ГЕРОИ ПРУТКОВА И ПАССИВНОСТЬ ЭМИГРАЦИИ

Поговорим о том, чем
наша жизнь согрета.

Владимир Соловьев

События наших смутных лет изменчивы и превратны. Тем более достоин удивления и даже умиления поднесь ни в чем не изменившийся рыцарь фон Гринвальус, навеки застывший в экстазе любовного ожидания.

Бароны пируют, бароны воюют, —
Барон фон Гринвальус,
Сей доблестный рыцарь,
У замка Амалы
Все в той же позиции
На камне сидит.

Нам, к сожалению, в точности неизвестно, что в тайне, про себя разумел знаменитый Козьма Прутков, когда создавал эти строки. Ныне однако мы имеем все основания почитать их пророческими.

Барон фон Гринвальус это несколько романтизированный и все же несомненный символ пребывающего в вечном оцепенении II-го интернационала; засевшая в замке прекрасная Амалия изображает, конечно, обещающее человечеству рай учение Маркса и Энгельса, которому хищные капиталисты и левые экстремисты не дают осуществиться в жизни; а пирующие и воюющие бароны — это вероятнее всего немецкие фоны 3-го Рейха...

Мы не думаем, чтобы такого рода расшифровка бессмертных строк бессмертного поэта была вполне произвольной. Залогом правильности такого толкования служат многие афоризмы Пруткова, созданные им в предвидении на-

ших идеологических заблуждений. Эти афоризмы звучат теперь весьма «актуально», выражаясь излюбленным словом гражданина Милюкова. Легкий на помине, сей доблестный рыцарь — ярый сторонник статического фон Гринвальуса, и столь же ярый противник баронов пирующих и воюющих — семнадцать лет тому назад проповедывал полное упразднение остатков русской армии. Он явно забыл при этом, а может и вовсе не знал, вразумительного в своей краткости афоризма Пруткова: «Военные люди защищают отечество».

Будем крепко надеяться на забывчивость или невежественность профессора. В противном случае, мы были бы в праве вернуть ему его собственный патетически-патриотический вопрос: «что это глупость или измена»? Но нет, это всего только забывчивость, или невежественность, не всегда присущая истинным ученым!

Преданный служитель прогресса, наш профессор «истории» позабыл историю. Именно этим объясняется его пренебрежительное отношение к «мрачному и кровавому средневековью», а также к светочам древней культуры, Платону и Аристотелю, которые, по словам Милюкова, являют собою образец человеческой глупости. Тут снова не мешает напомнить поклоннику прогресса тихий и вкрадчивый афоризм Пруткова: «И египтяне бывали человеколюбивы».

Говоря несколько тяжеловатым языком самого профессора «истории», мы ясно видим теперь из вышесказанного, что по отношению к современности чрезвычайно полезен корректив в виде стихов и изречений незабвенного директора Пробринной Палаты. Жаль только, что предлагаемый нами метод слишком поздно приводится в действие. Пользуясь им своевременно, мы избежали бы многих ошибок и вредных иллюзий, и между прочим вреднейшей иллюзии движения куда-то вперед, очевидно, «к светлому будущему». Ведь еще недавно, на страницах милюковского печатного органа, некий Демидов уверял нас, что все они — стопроцентные демократы — «идут все вперед и вперед», к самоуправлению «нога в ногу». Бедные! Они совершенно забыли, а может и вовсе

не знают, о своем тождестве с навеки застывшим фон Гринвальусом. «Отвергла Амалия баронову руку» и, как поется в народной песне, отдалась до последнего дня III-му и IV-му интернационалам. Таким образом, срединная «позиция» оказалась крайне невыигрышной. Самообольщения не помогли и никто не поверил обольстительному сну... Потому то мы и позволяем себе обратиться к ним с почтительно-доброжелательной просьбой, словами одного из героев все того же Пруткова: «Питая к вам с некоторых пор должное уважение, мы умоляем вас, именем ваших гостей, об этом сне умолчать». Однако, кажется, пора «в басне сей откинуть незабудки, здесь помещенные для шутки», ибо, хоть и сказано устами мудрыми, что «смеяться право не грешно над тем, что кажется смешно», но, увы, «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

В течение семнадцати лет прутковские уроды всеми средствами стараются разложить русскую эмиграцию. Пущены в ход клевета на великое прошлое России, на ее царей, государственных деятелей и даже кощунственная хула на святых! (Конечно, трудно поверить этому, но сомневающимся мы предлагаем внимательно посмотреть фельетоны Осоргина — правой руки Милюкова!). Достается также великим представителям нашей литературы и поэзии, порочатся имена Пушкина и Фета, высмеиваются лучшие русские мыслители. Ядовитая работа деятелей II-го интернационала проникает всюду, даже сама церковь не свободна от ее влияния. Не успеешь глазом моргнуть, как профессор Богословского Института тиснет статейку о доблестях Пассионарии, по пути проливая гражданские слезы о гибели Гришки Зиновьева, а видный епископ с улицы Петель, с амвона выразит покорность советской власти. Поистине согрета наша жизнь! И это тем более удивительно, что ведь вряд ли на всю эмиграцию найдутся люди, сочувствующие такой пикантной комбинации.

Откуда же и как возникло попустительство? Вот наболевший и пожалуй самый насущный вопрос. О созерцательной пассивности православия первый заговорил Пушкин.

Ныне мы понимаем, что в мнении Пушкина есть немалая доля правды. Православная церковная община далеко не всегда находила энергию на борьбу со злыми поползновениями в наши тревожные дни. Спешим подчеркнуть, что говоря так, мы всячески далеки от посягательства на незыблемую святыню православия. Что делать, так уже давно повелось: церковь, а вслед за нею деятели искусства и все военные люди объявили себя стоящими вне «политики». Как будто бы возможно рассечь живую жизнь и уйти с головою в узкую сферу своего ремесла! Такое рассечение жизни неминуемо привело к раздроблению казалось бы общих интересов. Цельное восприятие бытия незаконно расслоилось и, говоря кстати, именно на этих ложных путях выросло наше злостное предвоенное декаденство. Когда в бесчисленных салонах и кабачках, бледные юноши и девы, с какою-то развратною певучестью произнося слова в нос, рассуждали о Боге, искусстве и — о превратности судеб — все о той же политике! Но допустимо ли называть политикой стремление подорвать всякую живую традицию и как раз в первую очередь церковь, искусство и армию? Но с этим уже ничего не поделаешь: борьбу с большевиками и их пособниками русская эмиграция политикой считать не перестанет. Отсюда — терпимость к большевикам в недрах церковной общины, ленивая неподвижность военных кругов и безмятежное чтение миллюковского листка. Отсюда же лирическое самоковыряние в стихах эмигрантских поэтов и полное отсутствие у всех какого бы то ни было пафоса. Поневоле вспомнишь польскую эмиграцию с Мицкевичем во главе!

Нужно заметить что этому развалу положили начало со- роковые годы прошлого столетия. Еще в середине тридцатых годов, органическое мировосприятие оставалось непоколебимым, не упоминая уже о Пушкине, принимавшем страстное участие во всем, вплоть до политической жизни всего мира.

Бесследно исчезло цельное понимание событий и явлений и ни один из современных русских поэтов не мог бы приветствовать своего собрата по перу словами подобными стихам Баратынского, обращенными к князю Вяземскому:

Как жизни общие призывы,
Как увлеченья суеты,
Понятны вам страстей порывы
И обаяние мечты.
Понятны вам все дуновенья,
Которым в море бытия
Послушна наша ладия.

Разорванность ума и чувств — следствие отрыва от органичности — наше главное несчастье. «Град Петров стоял непоколебимо, как Россия», пока священник, воин и поэт дышали в дивном равновесии, не деля существования на жалкие и скудные куски. Священник проповедывал, гвардия умела умирать на поле брани и в нужную минуту производить дворцовые перевороты, а поэт воспринимал все, от Бородина до пугачевского бунта до «глуши степных селений» и вьющегося золотого локона.

Лоскутное понимание жизни заставило нас проиграть гражданскую войну: ведь и тогда мы были вне политики, в надежде на мудрую волю народа. А теперь на наших глазах Испанию спасают от гибели знаменитые «пронунсиаменто», над которыми в свое время так много смеялись, считая их признаком государственной слабости, политиканством развращенной армии.

Вот и дожили мы до того, что потеряли право смеяться афоризмам Пруткова. Его краткое изречение оказалось поучительным не для одного Милюкова, ибо воистину «военные люди защищают отечество», и это надо многим твердо запомнить.

Будущий правдивый историк, на досуге разбираясь в делах эмиграции, должен будет отметить ее большие положительные качества: терпеливость, достойную приспособляемость к неодолимо трудным условиям, исключительную работоспособность. Он будет поражен множеству открытых нами церквей, во многом бережному отношению к прошлому нашей великой культуры, но с горечью скажет, что дряблая созерцательность, отсутствие пафоса политической борьбы,

слишком часто погружала нас в бездну обывательщины, лишая нас самозащиты перед лицом злых и одновременно смехотворных уродов. Ведь еще неизвестно, до чего доведет нас преступное непротивленчество злу, какая-то закоренелая толстовщина.

Чаши мировых весов колеблются, пора не спать, а выбирать! Пока же тяготее над нами преисполненное сомнений и страха тютчевское четверостишие:

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Суждено ли пророчествам Достоевского полностью сбыться, или наконец мы найдем в себе силы преодолеть его страшное творчество — трагическую категорию России? Лавина мировых событий очень скоро захватит и нас. Тогда придет ответ на эти жуткие вопросы. А в ожидании нам необходимо решительно отмежеваться от этих прутковских «гишпанцев» — представителей русской секции II-го интернационала.

ОТРЫВОК

...Боюсь, что репутация антисемита, нелепо и совершенно несправедливо мне навязанная, сильно вредит мне в левых кругах попрежнему. Все мы мало внимательны друг к другу, а большинство людей привыкло, вдобавок, невнимательно относиться к печатному слову. Вот прошло уже более двадцати лет, как я громогласно, с присущей мне мало похвальной резкостью, проповедываю печатно имперскую идею, несовместимую с какими бы то ни было плеемными пристрастиями, расовыми началами, но в ответ на это, ничего кроме бессмысленных обвинений меня в «хитлеризме», я еще не слышал. Левые никогда не могли мне простить, что я хотел, прежде чем мечтать о гибели иностранца Хитлера, видеть погибель от его руки нашего доморощенного Сталина, перемудрившего во всех отношениях своего немецкого собрата. С правыми у меня дела обстояли ничуть не лучше. Как это ни странно звучит, они неизменно подозревали меня в юдофильстве, не понимая того, что всякие «фильства» и «фобства» мне одинаково чужды и противны. Однако, горя по правде, из всех «фильств» я отношусь враждебнее всего к славянофильству. Это именно оно, соблазнив нашу правящую верхушку, снизило имперскую идею и погубило Россию. А из всех «фобств» самое для меня отвратительное — юдофобство, ибо оно скорее и сильнее всего завладевает улицей, народными инстинктами, мне глубоко ненавистными. О слове «народ» я давно собираюсь написать статью. Прошло уже более ста лет, как все привыкли у нас придавать этому, некогда чисто биологическому понятию, одновременно три совершенно различных смысла. Под «народом» мы одинаково разумеем ныне: — простонародье, население данной страны, взятое в целом, и, наконец, нацию — три понятия друг друга исключают. «Народ» происходит от «народиться», а нарождаются не только люди, но и птицы,

и звери, и рыбы, и черви. В прежние более счастливые и культурные времена под словом «народ» разумелось все то, что есть в людях, в *человеках* биологического или даже, если угодно, зоологического. А слову «нация» во дни Пушкина, Баратынского и Чаадаева придавалось значение беспримесно духовное, противоположное всему тому, что выражает слово «народ». Нацию основывают вопреки и в противовес народу — герой, гений и святой при содействии сравнительно немногих избранных людей. Из кого состоят эти избранные? Отвчу кратко: крестьянин безветсной деревушки, честно платящий государству налоги, сознательно и честно отбывающий воинскую службу и внушающий своим детям страх Божий, есть тем самым представитель не народа, а нации. Такой крестьянин, такой мужик приобщается к деяниям героя, гения и святого и становится живой неотъемлемой частью нации. Но таких крестьян, равно как таких дворян, купцов и священнослужителей, в любой стране живет немного. Они-то и составляют собою нацию — явление исключительно духовное, *наднародное*, в каком-то смысле противонародное, отвергающее коллектив и утверждающее начало соборное в церковно-православном значении этого слова. Народ — коллектив, нация — собор. Народ неизменно порывается побить камнями героя, гения и святого, а нация защищает их от напора народного буйства, охраняя таким образом свою основу, собственную сердцевину.

В конце 18-го и в начале 19-го века, в краткую пору великолепного российского ренессанса, непреодолимая разница между понятиями «народ» и «нация» чувствовалась у нас лучшими людьми с особенной остротой и силой. Можно сказать даже, что эта разница ощущалась тогда в России всеми, но ясно *сознавалась* она, конечно, немногими, слишком немногими и слишком недолговременно. Потому, между прочим, не успели мы создать русского слова, вполне соответствующего по своему значению и смыслу иностранному — «нация». Однако Пушкин нередко умел поставить слово «народ» на подобающее ему место. У Пушкина народ и чернь в большинстве случаев между собою не различаются.

Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел, а хладный и надменной
Кругом народ непосвященной
Ему бессмысленно внимал.
И толковала чернь тупая...

Ясно, что Пушкин говорит здесь совсем не о простонародье, а о народе или черни вне сословных и классовых различий, противопоставляя чернь-народ духовным сферам нации, ядро которой троично, ибо его составляют — герой, гений и святой. Или же, говоря иначе, но все о том же, сердцевину нации составляют — вера, надежда и любовь. Герой бесстрашен потому что вполне обладает даром веры и следовательно духовным чувством собственного бессмертия; гений творит потому что его никогда не покидает надежда; святой совершает свой подвиг потому что любит. Итак, вера рождает геройство, из надежды возникает творчество, из любви восстает святость. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».

Любая нация неповторима, единственна, ибо каждой нации присуще особое, единственное, неповторимое в своей благодатности сочетание веры, надежды, и любви. Вот почему Россия и русский народ не только понятия не совпадающие, но напротив того — понятия взаимно друг друга исключающие. Россия это идея-задача заданная и данная Богом русскому народу для воплощения и разрешения. Но плоть не хочет духа, русский народ не принимает России, он отвергает ее, она же ищет своего воплощения, опираясь на избранных и создавая таким образом человеческий отбор. Этот отбор и есть нация, российская нация, в данном случае.

Все, что я сказал сейчас о взаимоотношении России и русского народа, можно повторить о Франции и французском народе, о Испании и испанском народе и т. д. Только самое сочетание духовных сущностей у каждой нации всегда будет своим, единственным и неповторимым, но животная биологическая основа у всех без исключения народов оди-

наковая. Впрочем, необходимо сделать, и не к нашей выгоде, одну оговорку: в западно-европейских странах понятие *нации* в гораздо большей мере покрывало понятие народа чем у нас в России. Всякая нация духовно динамична, она стремится воздействовать на косную народную толщу, она вступает с ней в борьбу, в битву. Непрестанно наступая, нация урывает у народа и присваивает себе всех способных принять духовное крещение, всех могущих воспринять ее властное вмешательство. Чем больше индивидуумов похищает нация у народной гущи, одухотворяя их в процессе похищения, превращая каждого из них из *индивида* в человеческую личность, тем крепче в данной стране национальный слой, тем послушнее усмиренная, взнузданная народная толща. Но, что бы наверное быть понятым, я повторяю еще раз: под народом и народной толщей следует разуместь совсем не простонародье, не крестьян и пригородных мещан, а огромное в каждой стране, особенно в России, скопление людских биологических индивидов, часто внешне цивилизованных, однако к истинной, религиозно-эстетически понимаемой культуре неспособных и ей враждебных. Вот именно эта народная толща оказалась у нас в России никем и ничем не прошибаемой до глубины. Отсюда чрезмерная тонкость и хрупкость российского культурного слоя, российской имперской нации, отсюда ее неустойчивость всегда ощущавшаяся большинством наших лучших людей. Но от чувствования до сознания и понимания и особенно до постижения причин и первопричин еще очень и очень далеко. Я полагаю, что во второй половине 19-го века только один Константин Леонтьев вполне понимал и постигал настоящие причины нашей духовной национальной неуравновешенности. Он хорошо понимал слова Чаадаева о том, что всего лишь вчера, в отличие от старых западно-европейских стран, мы находились в кочевой кибитке и что именно поэтому великая имперская идея, созидавшая Россию, может в один ненастный день пошатнуться под напором безбожных диких племенных инстинктов, никогда не переставших нами владеть. Коротенькие племенные чувствования и идейки всегда поджидали нас за углом. Когда же по-

явилось славянофильское учение с его проповедью племенной великорусской избранности, то пути, ведущие Россию к гибели, определились сами собой, ибо от племенных притязаний на первенство до погромов, и не только еврейских, рукою падать. Славянофильство опиралось у нас на бытовое исповедничество, но где быт, там начинается застой бытия, там снижается и ущемляется все истинно духовное. Бытовое исповедничество враждебно всякой подлинной религии и в особенности самой идее вселенского православия, неизменно пребывающей вне быта, открыто обсновавшей свое вечное царствование высоко над всеми племенами и расами. Вселенское православие чуждается всего бытового, всего домашнего, подтверждая всей своею божественной сущностью евангельские слова «враги человеку домашние его».

Имперская идея осуществлялась всего лишь дважды на земле: в Римской Империи, когда идея права, положенная в основу государственности, имела свои корни в религии, выводилась из Божества, и в Российской Империи, исходившей из идеи вселенского православия и, следовательно, из веры в небесную благодать. Как Дух дышит где хочет, так и российская имперская идея, подвизаясь в подражание Духу, стремилась дышать во всех племенах и народностях, поскольку они отрешались от чисто племенных биологических признаков и, одухотворяясь под ее воздействием, приобщались к нации в лице своих лучших представителей.

Во второй половине 19-го столетия, повторяю, только один К. Леонтьев постигал у нас до глубины сущность имперской идеи, создавшей Россию. В те годы эта великая идея окончательно погасла даже в самых избранных умах. Она стала недоступной даже несравненному по остроте и мощи уму Достоевского. На глазах у всех умирала Россия, но причину этого, тогда лишь начинавшегося умирания, видел и понимал один К. Леонтьев. Он видел, как померкала российская нация, отступая под натиском народа, племенных туземных инстинктов, домашних вожделий. Он видел как отцы и матери, когда-то внушавшие своим детям любовь к национальному духовному величию, превращаются в захо-

лустных папашей и мамашей, а их детки, их сынки в усть-сысольских обывателей, в оголтелых шовинистов, или же того лучше, в революционных бомбометателей, стрелков по городовым. Чтобы наглядно показать степень тогдашнего непонимания всеми того, что такое нация вообще и российская нация в частности, достаточно привести все еще весьма ходкое у нас утверждение, пущенное впервые славянофилами и ставшее обиходным уже в шестидесятые годы прошлого века. «У нас в России, — говорили все с осуждением, — слой образованных людей оторвался от народа». Причем под образованными людьми разумели, главным образом аристократов и дворян. Да, говорили так именно с осуждением, как будто бы в этой «оторванности» было что-то ненормальное, болезненное. На самом же деле никто и ни от кого в России не отрывался, а шел и развивался в ней вполне здоровый процесс расслоения, дифференциации российского общества. Этот благодатный процесс показывал, что мы приближаемся, говоря словами К. Леонтьева, к высшей стадии многосложного государственного цветения, когда каждый орган в духовном организме России, достигая своей зрелости, начинает исполнять, лишь ему одному, тайной, высшей силой предназначенные обязанности. И удивительно не то, что тогда Россия нормально выростала и зрела, а парадоксальна и непонятна та быстрота с какою тогда же завелась в российской нации червоточина славянофильства, зазвучала нелепая проповедь нашей самобытности в кавычках. Как будто бы истинная самобытность любой нации может возникнуть по щучьему велению из так называемых народных недр, в отъединенности и вне духовного воздействия других старших и следовательно более развитых наций. Как будто в народных гущах может само собою зародиться, что-либо иное, кроме душевно телесных потребностей у всех народов и у всех отдельных людей одинаковых. Всего же убийственнее для наших, по выражению Достоевского, русских мальчиков, это как раз отсутствие в их славянофильском учении оригинальности, самостоятельности и самобытности. Это учение было ввезено в Россию из неметчины печальной памяти наследни-

ками пушкинского Ленского. Однако Ленский привез с собою из-за границы не столь учености плоды, сколь довольно расплывчатые романтические грезы, все же слегка смягчившие грубоватые и рудиментарные российские нравы, а его ближайшие наследники, наравне с новейшими выводами немецкой философии, недаром ненавистной аполлонистическому уму Пушкина, занесли к нам из «Германии туманной» вреднейшую разновидность племенных теорий, неизменно смертоносных, при применении их на практике, для любого государства. Мы все еще так недавно видели на примере все той же Германии, насколько становятся губительными племенные народнические идейки навязанные жизни живой.

Российская Империя, поскольку она не изменяла идее ее породившей была живым отрицанием всех племенных притязаний на первенство от какого бы племени они не исходили. Император Николай Первый боролся как только мог, с распространявшимися славянофильскими чувствованиями, со все растущими великорусскими претензиями. Он неоднократно, иногда в очень резких выражениях, пытался объяснить славянофилам, что, перед лицом российских имперских законов, обычаи и верования любого края, любой народности, входящих в состав Империи, ничуть и ничем не ниже московских. Правительство Николая Первого зорко следило за развитием славянофильской пропаганды и пресекало эту заразу в достаточной степени решительно. Оно боролось с противоимперской деятельностью наших народников левых и правых толков и ревниво охраняло идею вселенского православия от ультра православной проповеди славянофилов, демонстративно и безвкусно шеголявших своей преданностью обрядоцерковному бытовому исповедничеству. Эта бесстыдная смесь сусальщины и шовинизма с церковной обрядностью, духовно сниженной и тем приниженной, претендовала на всемирность и была тайно преисполнена далеко не имперскими, а империалистическими вождениями. Да, славянофильское учение, враждебное имперской идее, создавшей Россию, несло в себе то, что принято теперь так часто невопад называть империализмом.

СОДЕРЖАНИЕ

Поруганное чудо	5
У истоков революции (перечитывая «Окаянные дни» Бунина).	35
Достоевский и всероссийская катастрофа	73
Интервенция и гипноз революции	97
Дедушка русской революции.	105
«Возрождение» и Белая Идея	121
Герои Пруткова и пассивность эмиграции	243
Отрывок	249

